

*С*видетели  
эпохи



АЛЬБЕРТ РИС  
ВИЛЬЯМС

■  
*Путешествие  
в революцию*

Россия в огне Гражданской войны

1917–1918

Альберт Рис Вильямс

**Путешествие в революцию.  
Россия в огне Гражданской  
войны. 1917-1918**

«Центрполиграф»

## **Вильямс А.**

Путешествие в революцию. Россия в огне Гражданской войны.  
1917-1918 / А. Вильямс — «Центрполиграф»,

Эта книга о первых днях и месяцах работы правительства Ленина. Друг Джона Рида, написавшего знаменитую книгу «Десять дней, которые потрясли мир», молодой американский журналист Альберт Рис Вильямс со всем энтузиазмом юности принял идеи и сам дух русской революции. Он лично знал Троцкого, Бухарина и Ленина, был очевидцем и активным участником многих сражений в дни Октябрьской революции 1917 года. В мае 1918-го, перед отъездом Вильямса в США, Ленин передал через него известное письмо «Американским социалистам-интернационалистам». Путешествие по объятый пламенем Гражданской войны России, знакомство с убежденными в своей правоте людьми очень повлияло на автора этой книги. До конца жизни он был другом Советского Союза.

## Содержание

Об авторе	5
Предисловие	7
Глава 1	13
Глава 2	29
Глава 3	44
Глава 4	56
Конец ознакомительного фрагмента.	67

# Альберт Рис Вильямс

## Путешествие в революцию. Россия в огне Гражданской войны. 1917—1918

*Посвящается памяти Мэри Е. Дрейер*

### Об авторе

Альберт Рис Вильямс родился в Гринвиче, штат Огайо, 28 сентября 1883 года. Он был сыном священника конгрегационной церкви, служившего в сельских приходах Огайо, Нью-Йорка и Пенсильвании. В четырнадцать лет он окончил школу в Хэнкоке, штат Нью-Йорк, но поступать в колледж не мог из-за слишком юного возраста, а потому устроился работать на лесопилку в Апексе, Нью-Йорк, а затем в магазин галантерейных товаров в Огайо.

В семнадцать лет он поступил в колледж Мариетта в Огайо и стал выдающимся оратором и лучшим спорщиком в классе, одним из редакторов колледжской газеты, капитаном баскетбольной команды и президентом атлетической организации. Учась в Мариетте, он помогал организовывать первый союз розничных торговцев в стране под покровительством американской Федерации труда. Его прощальная речь после окончания колледжа в 1904 году была озаглавлена: «Альтруизм и эгоизм в политике».

Рис, как его называли в старшем возрасте, в двадцать один год поступил в Гартфордскую теологическую семинарию в штате Коннектикут. Обучаясь там, он уговорил редактора газеты «Гартфорд ивнинг пост» позволить ему писать и редактировать регулярную колонку по вопросам работы. В 1907 году он получил «лицензию» на проведение церковной службы. В 1907–1908 годах он закончил Кембриджский университет в Англии, а также университет в Марбурге, Германия. Перед тем как уехать в Европу, он служил в пресвитерианской церкви на Спринг-стрит, в приходской церкви города Нью-Йорка, и там с помощью Норманна Томаса организовывал дебаты в Рабочем союзе.

Вернувшись из Европы, Вильямс принял участие в избирательной кампании за Юджина Дебса, кандидата в президенты от социалистов. Это было в 1908 году. Следующие семь лет он служил священником конгрегационной церкви Маверик, в восточном рабочем районе Бостона. Когда разразилась Первая мировая война, он находился в отпуске в Европе. Там он стал корреспондентом журнала «Взгляд». Его едва не застрелили немцы, арестовавшие и ложно обвинившие его в том, что он – английский шпион.

По возвращении в Америку Вильямс читал лекции в округе Чатаукуа, а в 1917 году опубликовал книгу – «В когтях германского орла» о своем опыте войны. Книге был оказан благоприятный прием, и это побудило его стать писателем. Вильямс решил не возвращаться в церковь Маверик. После свержения царского режима в России он в июне 1917 года поехал в Петроград в качестве корреспондента газеты «Нью-Йорк ивнинг пост».

В сентябре 1918 года он возвратился в Сан-Франциско из Владивостока и по всей стране распространял статьи, направленные против вторжения Америки в Советский Союз. В следующем году он опубликовал два памфлета под заглавием «76 вопросов и ответов о большевиках и Советах» и «Советская Россия и Сибирь», которые продавались миллионными тиражами. Кроме того, он написал книгу «Ленин: Человек и его работа», которая стала первой биографией Ленина, вышедшей в Америке. Книга Вильямса «Через русскую революцию» – мемуары о событиях 1917–1918 годов – появилась в 1921 году.

В 1922 году он вернулся в Россию, и в следующем году мы поженились. Я познакомилась с Рисом в 1919 году в городе Нью-Йорке и приехала в Москву, чтобы снять фильм на средства квакеров, чтобы собрать деньги в помощь голодающим. До 1928 года Вильямс путешествовал по стране из Архангельска до Кавказа, забирался в «темные» деревни в глубине страны, собирая материалы для книги о крестьянах и наблюдая влияние революции на старинные нравы и обычаи. Истории, родившиеся из его путешествий, были опубликованы в журнале «Атлантик мантли», «Азия», «Нью рипаблик», «Нейшн» и в других журналах и в конечном итоге вылились в книгу «Русская земля», увидевшую свет в 1928 году, которую многие считают его лучшим произведением.

В 1929 году у нас родился сын Рис. Семья переехала в Седар, на остров Ванкувер, в Канаде, а затем, в 1932 году, в Кармел, штат Калифорния. На протяжении 30-х годов Вильямс продолжал читать лекции и писать о Советском Союзе и совершил туда две поездки в 1930 и 1937 годах. В 40-х годах и позже, в эпоху Сталина, он жил и писал в Седаре или в Оссининге, штат Нью-Йорк.

В последний раз он приехал в Москву в 1959 году, по приглашению советского правительства, после того как написал поздравительную статью по поводу запуска в 1957 году спутника. Вернувшись в Оссининг, он собрал все свои многочисленные заметки и рукописи и с энтузиазмом принялся за написание настоящей книги. Теперь он стал единственным в Америке свидетелем и участником Октябрьской революции. Он знал Ленина и большевиков второго эшелона (которых он называл русскими американцами), которые бежали в Соединенные Штаты во время царского режима и вернулись в Россию в 1917 году.

Рис умер в феврале 1962 года, оставив книгу незавершенной. Я жила и работала вместе с ним сорок лет и помогала ему с этой рукописью. Поэтому естественно, что я посвятила себя тому, чтобы закончить ее. Я три раза ездила в Советский Союз, чтобы проконсультироваться с друзьями и поработать в библиотеках.

Этот свой последний вклад Рис сделал не напрасно. Он мечтал о новом и свободном мире, и я надеюсь, что дух народа, который двигал людьми в русской революции, оживет на страницах этой книги.

*Аусита Вильямс  
Бостон, Массачусетс  
Февраль, 1969 года*

## Предисловие

«Путешествие в революцию» – это история того, как молодой американец столкнулся с величайшей революцией XX века, революцией в России в 1917 году. Кто-нибудь может задать вопрос, почему эта книга *сейчас* так актуальна, когда это событие находится от нас на расстоянии пятидесяти лет. Рис Вильямс мог бы сказать, что русская революция задавала ритм всем последующим революционным движениям, явившись для них образцом для подражания. Однако вне зависимости от того, согласитесь ли вы с ним или нет, это голос вдумчивого человека старшего поколения, который стал близок инакомыслящим воинственным студентам всего мира конца 60-х годов.

Несмотря на то что эта книга собрана из объемных заметок и бесчисленных записей в 1962 году, после смерти Вильямса, в ней звучит его голос, голос очевидца тех мятежных дней 1917–1918 годов, когда он, возвращаясь из России, проехал через всю Сибирь и Владивосток. Вильямс взошел на борт корабля, отправлявшегося в Америку, в то время как молодые американские солдаты высаживались, чтобы вступить в интервенционную войну союзников против нового режима; у него конфисковали его бумаги в Гонолулу и в Сан-Франциско. Затем он нос к носу столкнулся со следователями от Вашингтонских властей, которые хотели знать о нем, о большевиках и о его роли в Октябрьской революции.

Ясный, доверительный и страстный голос Вильямса звучал со страниц книги «Через русскую революцию»; автор говорил здесь о событиях тех дней уже спустя время, а потому они предстают уже более осмысленными. Кроме того, в книгу добавлены важные наброски из его старых заметок, привнесшие существенные подробности и характеристики, ускользнувшие из более ранней работы; обогащена она и многими цитатами, почерпнутыми из библиотек, уточняющими первоначальные наблюдения. На самом деле его новые записи вмещают весь массив его дневников и записей диалогов с Джоном Ридом, с которым они вместе находились в России в дни революции; порой речь становится слишком взволнованной, нервной и перетекает в избыточные идиоматическими выражениями дебаты двух очень молодых американцев, пылких и любознательных, открытых всему новому, оказавшихся в самой гуще того, чему суждено было стать самым настоящим испытанием на всю жизнь.

Вильямса ожидала долгая жизнь. Для Джона Рида Россия оказалась концом земного пути; он написал книгу «Десять дней, которые потрясли мир», объявил себя коммунистом, умер от тифа в Москве и был похоронен под Кремлевской стеной. Но как бы ни различались они по судьбе и образу жизни, события, происходившие в бурные дни Октябрьской революции, они интерпретировали одинаково. В более глубоком смысле их исходные взгляды выковались вовсе не в России, но сформировались в довоенной Америке, где эти молодые социалисты, каждый по-своему, боролись за то, чтобы прозябавшему в нищете рабочему классу предоставили приемлемые условия работы и достойное жалованье. Целью этой борьбы было ни больше ни меньше как всеобщее социальное преобразование.

Для кого-нибудь из молодых мятежников из студенческих кампусов, возможно, станет новостью, что требования фундаментальных структурных перемен в американском обществе звучали уже много лет назад. Или то, что перед Первой мировой войной радикальное движение пустило глубокие корни в Соединенных Штатах, несмотря на многие препятствия, внутренние и внешние. В 1912 году социалистическая печать выпустила в Соединенных Штатах 323 публикации и издания общим тиражом свыше двух миллионов экземпляров. Самая крупная из этих газет, «Призыв к разуму», настолько хорошо распространялась по всей стране, что перед войной библиотекарь из моего родного городка в Айове вручал мне, тогдашней школьнице и жадной до книг читательнице, экземпляры газет «Массы» и «Призыв к разуму». Он снабжал меня и литературным журналом «Маленькое обозрение», который, пропагандируя эстетику

современного искусства и литературы, никоим образом не чуждался своих более политизированных двойников.

Теперь, в 60-х годах, историки начали раскрывать некоторые из сокрытых сложностей, противоречий общества тех предвоенных дней. Первые годы столетия породили не только «новую историю» и блистательных теоретиков, вроде Торстейна Веблена, но и художественное осознание, характерное для Гринвич-Виллидж и Гарлема. Социалисты, профсоюзные деятели, прагматики и любители сенсационных разоблачений, новое поколение социологов, казалось, сближались и даже соединялись в своей критике американского общества, и это отражалось в творчестве таких романистов и поэтов, как Драйзер и Шервуд Андерсон, Фрэнк Норрис и Генри Фулер, ранний Карл Сандберг и многие другие.

Во время исторической забастовки текстильных рабочих в Лоуренсе, штат Массачусетс, в 1912 году, возглавляемой Биллом Хэйвудом, лидером ИРМ (Индустриальные рабочие мира – профсоюзная организация в США. – *Перев.*), перед социалистами и профсоюзными деятелями из АФТ (Американская федерация труда) встала задача поддержать борьбу, которая вышла за пределы воинственной тактики Хэйвуда, призывавшего непосредственно к саботажу и всеобщей забастовке. И во время всей фракционной борьбы, расколовшей ИРМ, еще до вступления нашей страны в Первую мировую войну, их отказ отождествлять себя с промышленным капитализмом военного времени породил их в тюрьме с непреклонными социалистами. И тогда, наконец, была объявлена война за демократию.

Когда вслед за новостями о свержении царского режима в России стали приходить сообщения об учреждении в Петрограде уникального революционного парламента, названного Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, Рис Вильямс принял решение поехать в Россию, чтобы увидеть все собственными глазами. Это было в феврале 1917 года. Президент Вильсон лавировал относительно того, вступать ему в войну или нет, но деспотичный царь в качестве союзника в войне за демократию смущал его. Февральская революция сняла Вильсона с крючка; и в апреле Соединенные Штаты вступили в войну. В мае Вильямс получил аккредитацию журналиста от газеты «Нью-Йорк ивнинг пост», он брал интервью, и его самого расспрашивали представители различных политических партий, принимавших активное участие в революции. Он собрал дюжины писем к членам Временного правительства и Советам – Милюкову, Керенскому, Родзянко. Еще более важно то, что у него имелись рекомендательные письма от издателей «Нового мира» – русской социалистической газеты, издаваемой в Нью-Йорке, которая когда-то считала своими корреспондентами большевиков Троцкого и Бухарина.

Вы можете сказать, что Вильямс делал такие же заготовки, какие предпринял бы любой профессиональный журналист, чтобы снабдить себя компетентным, «объективным» отчетом о заметном мировом событии. Однако Вильямс не был неофитом в политике, экономике и социальной истории или в войне. К тому времени, когда он приступил к своей миссии в России, он уже имел богатый разнообразный опыт – личное участие в промышленной забастовке и бесконечно разносторонние отношения с людьми во всех проявлениях жизни. Он жил за границей в Англии и в Германии, он прошел с германской армией в Бельгию в качестве аккредитованного корреспондента американского журнала «Взгляд»; был арестован, и его едва не застрелили как британского шпиона; был священником конгрегационалистской церкви Маверик в рабочем восточном районе Бостона; читал лекции в Чатаукуа; но *главным образом* он учился, много учился и наблюдал, как живут люди и каким образом события влияют на их жизнь – и как могут поступки людей влиять на череду событий.

В некотором роде его опыт к тому времени, когда произошли революционные события в России, был некоей прелюдией к его вступлению в ту историю. Характер предыдущего опыта весьма важен. И может быть таковым, что способен преградить путь к адекватному восприятию



события. У Вильямса получилось так, что он случайно накопил правильный багаж для своей роли.

Будучи сыном человека, который, прежде чем стать священником, много лет работал на шахтах Уэльса, Рис Вильямс тоже начинал работать на шахтах и, повторив путь отца, тоже выучился на священника. Юноша видел не только внешнюю сторону человеческого существования, но и принимал участие в сельских радостях маленьких городков, где служил священником его отец, читавший проповеди в зачистую бедных конгрегациях. Его мать также родилась в Уэльсе и приехала в Соединенные Штаты юной девушкой; ей суждено было стать женой священника и произвести на свет четырех сыновей, и все они тоже стали священнослужителями. Ее собственные предки следовали этому призванию в Уэльсе, и уэльское наследие вошло в кровь и плоть ее детей. В клане Вильямсов жила какая-то неукротимая уэльская тяга к независимости, природная мятежность, любовь к учению и к искусству, страсть к песням и историям, и все это наложило неизгладимый отпечаток на личность человека, который отправился в Россию в 1917 году.

Так же как Джон Рид, выпускник Гарварда, Рис Вильямс блестяще учился в колледже Мариетта в Огайо и был настолько выдающимся студентом в теологической семинарии в Гартфорде, что выиграл стипендию на оплачиваемое обучение в Европе, о чем он страстно мечтал. В Лондоне он познакомился с группой сметливых молодых социалистов из английских университетов, смешался с членами молодой лейбористской партии и более того – начал посещать читальные залы, клубы, улицы, где собирались рабочие и работницы лондонских трущоб. Он не был сентиментальным; в своих дневниках упрекал рабочих за инертность, они вызывали у него ярость тем, что безропотно принимали свою долю и порой рабски угодливо вели себя в присутствии «сильных мира сего». Вильямс хотел не просто поднять их с колен или даже спасти их души, но встряхнуть рабочих, взять их за живое, пробудить к борьбе против неизбежности их, в любом случае, печальной судьбы. Их бледные лица, растоптанные башмаки, приступы дикого хохота, безнадежность от неизбывной нищеты, которую они заглушали в кабаках, пробуждали в молодом человеке желание бороться. Если он возвращался в ряды священников, то толковал Евангелие по-своему; Вечное для Вильямса должно быть сейчас, в этой, земной жизни. И если он еще не определился до конца, то все равно вставал на сторону угнетаемых и, выступая против угнетателей, оставался верен себе и в Лондоне, и потом, всю жизнь.

Рид и Вильямс познакомились и стали вращаться в радикальных социальных кругах Нью-Йорка до того, как рискованное предприятие вновь свело их в России. Они оба были уже авторами статей, читали лекции. Рид приобрел известность как молодой репортер, который находился в кавалерийском полку Панчо Вильи во время революции в Мексике. Вильямс собирал средства и был оратором на забастовках в Лоуренсе; Рид писал передовицы в нью-йоркских газетах как организатор зрелищных праздников на Мэдисон-Сквер-Гарден в пользу бастующих рабочих-текстильщиков из Паттерсона, штат Нью-Джерси. Молодой Рид был близким другом Мэйбл Додж, богатой покровительницы искусства и литературы из Гринвич-Виллидж; он был женат на Луизе Брайант, которая поехала с ним в Россию. Вильямс считался непреклонным холостяком: он еще не зажил домашней «упорядоченной» жизнью и в то время не предполагал этого. У Рида были богатые родители в Портланде, штат Орегон; родители Вильямса вели более чем скромную жизнь.

Но показательно, что различия в происхождении, образе жизни, в личном выборе не имели значения, когда им обоим пришлось столкнуться со свершившейся Октябрьской революцией. Оба объявили себя ее приверженцами. Рид вступил в коммунистическую партию, а Вильямс нет – ни тогда, ни после.

Если вы хотите получить яркое представление о революционной ситуации, то знайте: лишь ее сторонники способны представить вам самую неприкрытую суть происходивших событий. Вы хотите обнаружить подземные источники мятежей в Детройте или Ньюарке? Не

спрашивайте у белого полицейского, но следуйте за разумным черным. Вас интересует, почему студенты восстают против государственного устройства? Не задавайте вопросы ректору университета, но задержите для излияний мятежного студента. Вы сможете поговорить с ректором позже, более того, вам стоит это сделать. В любом случае вам никто не вручит respectable программу революционных мер. Революции так не делаются; котел взрывается, когда давление пара становится непереносимым.

Передовые действия всегда завершаются меньшинством, и страх отдаления большинства есть страх самого действия. Эта патентованная истина, подтвержденная всеми историками развития политической борьбы, свидетельствует о том, что при благоприятных условиях неразвитое большинство может быть нейтрализовано, и лишь в исключительной отчаянной ситуации оно втягивается в энергичную кампанию сопротивления официальной политике.

Сегодня или в 1918 году американский электорат мало знает о мире вне Соединенных Штатов. Общественность была особенно уязвима перед пропагандой Первой мировой войны: германцы представлялись ею как безликие орды гуннов, кайзер – зверь из Берлина. Какие страсти подстегивали их, когда перед лицом еще более страшных большевиков они пошли на примирение с гуннами.

Вильямс уехал в Россию в дружелюбных лучах Февральской революции, которая была приемлема не только для Вильсона, но для большинства граждан, ибо даже школьникам рассказывали о царе-тиране. Однако дружелюбие было обусловлено предположением, что революция была осуществлена правильно настроенными предпринимателями-капиталистами, что русские, освободившиеся от царского ига, решительно сделаются боевыми союзниками и станут сражаться бок о бок с другими хорошими парнями, чтобы покончить с войной. В «Путешествии в революцию» Вильямс расскажет вам, почему эта мечта была лишь великой иллюзией, и не более. Когда изможденные войной солдаты покидали фронт, промышленность полностью развалилась, крестьяне не собирали урожай, необходимый для войны, и ярость переливалась через край, и лишь воинствующее, решительное меньшинство могло прийти на помощь. Сражающееся меньшинство воспользовалось средствами, которые изначально не слишком отличались от тактики, к которой вынужден прибегать любой отсталый народ. Официальная политика Соединенных Штатов по отношению к Гватемале, Кубе, Санта-Доминго, Вьетнаму – не более чем простертая рука ее политики 1918 года, когда фактически началась «холодная война».

К тому времени, когда Вильямс в сентябре 1919 года вернулся в Америку, социальные и политические рамки предвоенной эпохи были расшатаны; начался новый век отрезвления. Можно заполнить тюрьмы нераскаявшимися, сознательными противниками, непримиримыми борцами, однако уже в 1918 году социалистам удалось избрать в Государственное собрание тридцать два депутата. К весне же 1919 года избранные должным образом законодатели-социалисты были изгнаны из Нью-Йоркского государственного собрания как «предатели». Война закончилась, но огонь еще горел.

Рейды Пальмера, атаки на социалистов и пацифистов и прочих диссидентов обеспечивались общественным одобрением сбитых с толку граждан. В Монтане и Вашингтоне убивали оппортунистов, вели общенациональную охоту на ведьм и заполняли ими тюремные камеры в Ливенворте или новые могилы. Однако Вильямс теперь стал бесстрастным просветителем и начал ездить с агитационными лекциями по городам Соединенных Штатов. Он писал памфлеты, издававшиеся социалистической школой Рэнд, которые продавались по десять центов, под названием «76 вопросов и ответов о большевиках и Советах». Памфлет продавался миллионами экземпляров. Вы могли не соглашаться с Вильямсом, однако его информация распахивала двери. Получивший такую информацию человек мог сам начать расследования, не увязая при этом в официальной пропаганде. Он мог критиковать, возражать, пересматривать прежние мнения, кстати, разворачивающаяся история Советского Союза побуждала к этому, однако люди не погружались в болото жалкого невежества и пропагандистских пут.

Интервенция союзников в России провалилась, вторжение во Вьетнам также не имело успеха. В университетской среде множатся мнения, главным образом среди молодых людей, отвергающие мифологию политического манихейства и соответственно осуждающие контрреволюционную роль Америки, нынешним, скандальным символом которой является война во Вьетнаме. Зазвучали новые голоса, критикующие социальные и экономические болезни общества, вскрывающие еще более изощренные формы обмана, которые могут привести общество к саморазрушению.

«Путешествие в революцию» посвящено главным образом первым дням правительства Ленина. В книге ничего нет про сталинские чистки, концентрационные лагеря, бюрократизм молодой и подвижной революционной армии, которая была вынуждена принять на себя удар со стороны могущественных сил мира. Это личные заметки, с часто меняющимися характеристиками человека, который не боялся непопулярных мер. Вы можете читать книгу, не отождествляя ее с лозунгами того времени или фракционными диспутами, которые проходили везде и даже в самом начале. В основном это книга о людях и их поступках на обьятном войной крае мира. Но тогда, как и сейчас, «чувствовать себя человеком – это полезная форма политической подрывной деятельности».

Однако о ценности «Путешествия в революцию» нельзя судить по ее уклону или идеологии, ее взгляду на мир – скорее по ее отношению к пережитому опыту, по силе ее экзистенциального убеждения и, прежде всего, по силе ее конкретного воздействия. Это не программа, хотя она могла бы служить настольной книгой пилигрима. Ее даже можно читать как предупреждение некоторым нынешним юношам, которые в боевом кличе выкрикивают имена Че Гевары, Мао, Малькольма Х и в Берлине Розы Люксембург, однако не настолько уверены в себе, чтобы призывать Ленина. Ибо революционный процесс в целом, как он понимается в западном мире, – есть основа, человеческое предназначение, стойкое неприятие угнетенных против угнетателей. Это и представляет собой живое наследие Карла Маркса – в Праге, в Москве и даже в Соединенных Штатах.

Я не знаю, что бы подумал Вильямс об оккупации Советским Союзом Чехословакии, однако он напомнил бы мне, что Соединенные Штаты продолжают полное истребление Вьетнама. Мог бы он, как я, встать на сторону студентов в Праге и перейти на сторону внука Иви Литвинова, который выступил за них? Даже давнишняя дружба не дает мне права интерпретировать мнение покойного.

В 1921 году, студенткой из Беркли, только что окончившей университет в Калифорнии, я познакомилась с Вильямсом в захудалой квартирке на Чарльз-стрит в Нью-Йорке. Всю ту весну он вставал из-за стола, обвешанный страницами из книги «Через русскую революцию», чтобы поприветствовать меня. Он был красивый, остроумный и сыпал ироническими комментариями, говоря о других людях и о себе. Той весной мы подолгу гуляли с ним вдоль акведука, который тянулся с Йонкерса до Оссининга. Я помню, как он срывал листок с дерева и кусал его или как мы с удовольствием валялись на траве, смотрели на Гудзон и, перекусывая бутербродами с сыром, выплескивали друг другу стихи. А как забавно было вторгаться в большие поместья, которые пересекали две тропинки! Особенно я помню поместье Элен Голд, ее огромный мрачный дом, в котором росли высокие лавровые кусты в полном цвету. Рис Вильямс голосом уэльского барда декламировал из Ницше: «Человек – это гибельный приход, гибельное путешествие, опасный взгляд назад, опасное дрожание и спокойствие... Что есть великого в человеке, так это то, что он – мост, а не цель». Я не думаю, что мы когда-либо говорили о политике во время тех долгих прогулок, хотя все, что говорил Рис, равным образом относилось к его основной теме. Это был некий объединяющий принцип в нем, который, казалось, исходил из инстинктивного темперамента и который его открытия в качестве исследователя социализма лишь усиливали. И если мне позже был антипатичен его «долгий взгляд на историю», когда он пытался перепрыгнуть через тиранию Сталина к более светлым дням, то он

терпимо относился к моим противоположным убеждениям. Более того, он поощрял их, повторял собственное мнение без злобы, что позволило нам остаться друзьями. В последние годы он отпускал ироничные шпильки по поводу тем или предметов, к которым питал глубокое уважение. К примеру, когда я увидела его в Оссининге, куда прибыли преданные пилигримы – большевики раннего ленинского типа, он прошептал мне, чтобы я «пожала руку, пожимавшую руку Ленина».

Рис Вильямс сказал то, что хотел сказать, и, как оказалось по прошествии в высшей степени противоречивых и разрушительных исторических событий, он был дальновиднее всех нас.

(Этот последний отрывок написан мисс Хербст перед ее смертью 28 января 1969 года.)

## Глава 1

### Мы с Джоном Ридом принимаем решение

Оглядываясь назад, в золотые сентябрьские дни 1917 года в Петрограде, я прекрасно понимаю, что для такого стреляного воробья, как сотрудник американского посольства Сэм Харпер<sup>1</sup>, я и Джон Рид были весьма дерзкими молодыми людьми. Но мы и были таковыми: невыносимо решительными и самоуверенными по поводу тех вещей, которые на самом деле озадачивали прочих американцев. То, что приводило их в ярость, – такие события, как завоевание большевиками большинства в Петроградском Совете, – нам казалось логичным и правильным. То, что наполняло их предчувствиями, – стремительный рост большевистской партии после ее вынужденного отступления и подавления в июльские дни<sup>2</sup>, для нас было поводом для радости.

Ленин все еще скрывался, когда Рид, после долгого и полного приключений путешествия из дома, прибыл на поезде из Стокгольма. Я увидел Рида несколько дней спустя, около 2 сентября<sup>3</sup>, и мы радостно воссоединились. В первый раз я увидел его в Лоуренсе, штат Массачусетс, во время забастовки 1912 года. Затем мы встретились в Бостоне, когда Рид произносил речь в Тремонт-Темпл в 1915 году, а позже мы случайно столкнулись в нью-йоркской Гринвич-Виллидж. Насколько мне показалось, приезд Рида в Петроград был удачным. Я чувствовал себя довольно оторванным от других иностранных корреспондентов, правда, за исключением Артура Рэнсома и позже М. Филиппа Прайса<sup>4</sup>, из в основном пожилого состава сотрудников американского посольства я только начал знакомиться с Бойсом Томпсоном, главой американского Красного Креста, и его энергичным помощником Рэймондом Робинсом. Люди, с которыми я подружился, представители англоговорящих революционеров-эмигрантов, которые теперь устремились в Россию, воспользовавшись амнистией после Февральской революции, уделяли мне меньше времени, чем раньше. И вдобавок я был рад Риду, как родному по духу существу и как более опытному репортеру, чем я.

С другой стороны, Джон Рид рассматривал меня почти как ветерана сцены, и он немедленно начал (как хороший репортер) вытягивать из меня все, что я видел и слышал, а также чего не слышал. Я находился в России только три месяца, достаточно долго, чтобы пережить одно Временное правительство князя Львова; теперь стало ясно: правительство Керенского катится под откос.

---

<sup>1</sup> Сэмюэл Н. Харпер, сын ректора университета Чикаго Вильяма Рейни Харпера, много путешествовал по царской России и изучал ее, повинуясь настоятельным просьбам отца. Он стал профессором русского языка в университете и, вероятно, самым влиятельным консультантом по России в Государственном департаменте во время администрации Вильсона. Он сопровождал посла Дэвида Р. Фрэнсиса в Россию в 1917 году, в качестве советника.

<sup>2</sup> Восстание 3 июля длилось четыре дня. Оно было инициировано 1-м артиллерийским полком после полудня, и в тот же вечер к нему присоединились два других полка петроградского гарнизона. На следующий день тысячи рабочих также высыпали на улицу. Главной причиной беспорядков, очевидно, стал приказ начать широкомасштабное наступление в Галиции, несмотря на провал мобилизации от 18 июня. После некоторого колебания большевики, которым не удалось предотвратить восстание, которое Ленин считал преждевременным, решили возглавить демонстрации, чтобы придать им направление и цель. Однако тогда это оказалось слишком поздно. Произошло кровопролитие, наступил период реакции, партия большевиков была фактически запрещена, и были изданы приказы арестовывать большевистских вождей.

<sup>3</sup> Здесь необходимо объяснить сложности с календарем. Во всей книге я буду указывать даты, которые использовались в России во время этих событий: юлианский календарь для всего, что произошло в России до февраля 1918 года; григорианский календарь для событий после 1 февраля, которое стало 14 февраля согласно западному календарю, принятому в январе и начавшему действовать. Описывая события вне России, я буду использовать западный календарь, а для тех событий, которые часто ссылаются на обе даты, как, например 25 октября – 7 ноября, я воспользуюсь двойной системой датирования.

<sup>4</sup> Британские писатели и журналисты. Прайс, с которым я познакомился в 1918 году в Москве, был корреспондентом газеты «Манчестер гардиан». Рэнсом также был корреспондентом «Манчестер гардиан» и в 1918 году писал для лондонской «Дейли ньюс»; многие его репортажи из России были напечатаны в газете «Нью-Йорк таймс».

Рид забросал меня вопросами насчет Ленина, Троцкого. Могу ли я взять его на какой-нибудь митинг рабочих на Выборгской стороне Петрограда? Каковы шансы посетить фронт, прежде чем он окончательно распадется? Он хотел увидеть все и сразу. Он негодовал, что прибыл несколько дней спустя после восстания генерала Лавра Корнилова. Я сказал ему, что тоже приехал в Петроград слишком поздно и не застал этого; в июле я находился в деревнях Владимирской области и расспрашивал крестьян, затем вновь поехал в глубинку в августе, на сей раз на Украину.

Помню, что Рид только что приехал из посольства, где знакомые рассказывали ему, что они видели, как укрепляется Временное правительство после неудачного броска на Петроград отборной Дикой дивизии из казачьих войск Корнилова. «За этим что-то есть?» – спросил Рид. Напротив, ответил я. Мятеж развалился без настоящего сражения, без единого выстрела, по одной причине: из-за сокрушительного ответа Красной гвардии и масс в целом, созданных на защиту революции большевиками. Почему Керенский обратился к партии большевиков за помощью?<sup>5</sup>

Риду я пообещал, что он увидит Красную гвардию, их винтовки, составленные в козлы в комнатах комитетов на больших заводах. Он увидит, как растет их дружелюбие к армейским подразделениям и к петроградскому гарнизону. Благодаря большевикам в это время заводские рабочие смотрели в будущее с надеждой, которую им удалось сохранить через шесть месяцев предательства со стороны двоевластия Временного правительства и Советов, или, как обозвал это Троцкий, Двойного безвластия.

Правительство, которое было буржуазным, но при этом поддерживалось умеренными социалистическими партиями, меньшевиками и социалистами-революционерами, а также кадетами (конституционными демократами) вплоть до тактического устранения кадетов как раз накануне корниловского кризиса, более чем когда-либо пользовалось дурной славой. И не любовь к Керенскому побудила рабочих дать быстрый отклик на энергичные призывы большевиков собрать все силы в связи с приближением Дикой дивизии Корнилова; просто они не желали отдавать свою революцию человеку на коне – генералу Корнилову. Что же до Керенского, то о нем позаботятся позднее. Ленин подсказал, как я слышал: не поддерживать Керенского, не нападать на данном этапе. Тогда только одно имело значение: защита Петрограда и революции. Но все это дело, что бы там ни слышал Рид в посольстве, *не помогло* Керенскому. И лишь подчеркнуло растущее могущество большевиков. Американское, британское и французское посольства видели это по-другому.

«И Томпсон, похоже, только что всадил миллион долларов собственных денег в дурацкий план, пытаясь убедить крестьян, что Керенский после всего – их человек. Робинс подбил его на это. Робинс сделал это не для того, чтобы одурачить крестьян. Он на самом деле верил, что может убедить Керенского начать раздавать землю. Он решил, что это – единственный способ удержать Россию в войне. Томпсон и Робинс пытались заставить американское правительство выдавать по три миллиона долларов в месяц под этот план, а между тем, чтобы не терять время, Томпсон отправил телеграмму в банковскую фирму Дж. Пьерпонта Моргана, чтобы тот прислал ему миллион его собственных денег».

– Вы хотите сказать, что миллион медного магната не сможет удержать большевиков от того, чтобы они пришли к власти? – рассмеялся Рид. В этой истории имелись все элементы

---

<sup>5</sup> Все умеренные социалистические партии готовы были защищать революцию так, как они себе это представляли, и, разумеется, желали объединить свои силы, чтобы любым способом защитить Петроград от вооруженных пиками казаков Корнилова, продвигавшихся под командованием генерала Крымова после ареста Корнилова. Однако Керенский прекрасно понимал, что никто из них в настоящее время не представляет историю. Он знал, что рабочие и большинство гарнизонов к тому времени в основном слушались большевиков. Итак, во имя спасения революции против генерала, которого он окрестил предателем, Керенский обратился к Смольному и открыл тюрьмы (где содержались в камерах многие из арестованных в «июльские дни»), с тем чтобы большевики смогли направить своих наиболее изошренных агитаторов на фронт, чтобы вести переговоры с казаками. Словами, а не пулями, направленными против казаков, был подавлен контрреволюционный мятеж Корнилова.

фантастики, которые, я знал, привлекут его. – Но серьезно, как же, в конце концов, они *ожидали* загипнотизировать крестьян? Или что они *могли*, по их мнению, сделать?

Я рассказал ему то небольшое, что знал сам. Миссии и комиссии, что прибывали издалека, некоторые квазиправительственные, и все они приезжали с единственной мыслью: удержать Россию в войне. Американский Красный Крест не был исключением. Робинса тревожил усиливающийся голод. Он рассматривал кооперацию крестьян как ключевой фактор. Керенский все еще был социалистом-революционером, а Робинс знал, что эсеры были партией крестьян и что их программа призывала к распределению, раздаче земли. В августе, через неделю после того, как Робинс приехал, он встретился с госпожой Екатериной Брешковской, «бабушкой русской революции», давним эсером и членом одной из их первых террористических групп. Робинс знал, что она находилась в тюрьме и в ссылке при царях, и для него этого было достаточно, чтобы романтизировать ее. Чего он не знал, так это то, что она безнадежно отстала от современной революционной ситуации. Не так уж было нелогично, по мнению Робинса, поверить, что правительство, поддерживаемое меньшевиками и эсерами, начнет что-то делать для крестьян, а не просто скажет: «Погодите. Дождитесь Учредительного собрания и *закона*, и тогда вы получите свою землю на *законном основании*». Брешковская убедила Робинса сформировать женский комитет для помощи в распределении продуктов. Он подумал, что это – блестящая мысль. Комитет Брешковской был на самом деле политическим и интеллектуальным кругом, через который на миллион Томпсона можно было учредить газеты, новостные бюро, организовать солдатские клубы, которые посылали бы ораторов в бараки и деревни и где они продвигали бы линию Керенского – патриотическая защита родины и поддержка Временного правительства.

На грядущей демократической конференции, я сказал Риду, что будут присутствовать многие зажиточные крестьяне, делегаты-эсеры из провинций, и Робинс наверняка будет там, в надежде поддержать Керенского.

«По крайней мере, он был не за Корнилова, которым так восхищался наш посол», – сказал я.

«Но у кого штыки? – спросил Рид. – На чьей стороне армия во всем этом?»

Я не мог ответить на все его вопросы сразу. Но заверил, что у Керенского навряд ли были штыки. У рабочих – Красной гвардии – были свои. Разумеется, как только мятеж Корнилова был подавлен, Керенский отдал приказ милиции разойтись, сложить оружие. Не тот шанс!

Мы с Ридом пошли из городской думы в Смольный институт, где в лабиринте залов и прежних классных комнат для дворянских дочерей большевики сейчас устроили себе штаб-квартиру, и из Смольного по вечерам перебирались в Выборг и во многие другие места в те первые дни, когда мы присоединились к армии. Иногда мы с ним блуждали поодиночке. В другой раз мы ездили вместе с Луизой Брайант, женой Джона Рида, и с Бесси Битти. У Рида было удостоверение от радикальной газеты «Массы» и нью-йоркского «Зова». У меня же было удостоверение от «Нью-Йорк пост». Мисс Брайант, как ее называли (ибо в те дни ни одна уважаемая радикальная женщина не носила имя мужа) писала для женских журналов, а Бесси Битти представляла «Сан-Франциско бюллетень».

Повсюду в воздухе носилось напряженное любопытство. Рядом с неугомонным, желающим все испытать Ридом напряжение только усиливалось. Были моменты, когда мы забывали, что история дышит нам в затылок, хотя таких моментов было немного. Мы с Ридом ходили мимо того места, где Александр II, подписавший манифест об отмене крепостного права, встретил свою смерть, когда нитроглицериновая бомба была брошена в его карету. Мы ходили по площади перед Зимним дворцом, где тысячи людей были расстреляны в Кровавое воскресенье в 1905 году, когда толпы людей маршировали в мирной процессии, чтобы передать петицию своему царю Николаю II. Какая история разыграна на протяжении веков в этом гордом городе! И разве можно было бы отыскать более подходящее место в мире для рабочей

революции, чем этот город, который по приказу Петра восстал из болот трудом рабов? Так мы размышляли и думали о человеке, который прятался недалеко от Петрограда и которому суждено дать свое имя этому городу.

Я описал Риду тот ужас, с которым наблюдал громадную демонстрацию 18 июня, и другие мятежные сборища, которые пытались предотвратить большевики. А потом, поняв, что не могут этого сделать, большевики тщетно пытались контролировать их, и последовали кровавые репрессии. Тогда, в последние дни правительства князя Львова, были изданы приказы арестовать трех главных лидеров большевиков. В те дни схватили Льва Каменева. Ленин решил прийти на суд, однако его разубедили, и он вместе с Григорием Зиновьевым ускользнул. Позже Ленин надел парик и раздобыл паспорт рабочего, чтобы пересечь финскую границу. Последовали массовые аресты, в том числе задержали Льва Троцкого, Анатолия Луначарского и неустрашимую Александру Коллонтай. Прошло чуть больше двух месяцев, как Ленина обвинили в измене; ему приписали, что он взял золото у германского Верховного командования. Теперь, в сентябре, ничье имя не сияло так же ярко в глазах рабочих, как имя Ленина; по мере того как их иллюзии в отношении умеренных социалистических партий исчезали, росло их уважение к Ленину и большевикам.

Мы с Ридом обсуждали ход революции в настоящее время, особенно когда шли по Литейному или другим мостам из Петрограда и вступали в другой мир – в мир трущоб, разваливающихся, густо населенных рабочими многоквартирных домов, стоявших вокруг громадных военных заводов и дымящих фабрик. Рид, понюхав воздух, посмотрел вокруг и сказал: «Я подумал, что такой была «феодалная Россия». Мне кажется, здесь такой же запах, как в Питтсбурге. Поговорите с этими меньшевиками и социалистами-революционерами, и вы поймете, что капитализм не затронул Россию. Ну и как?»

Какой ненормальной казалась вся политическая обстановка! За исключением нескольких монархистов и других групп, каждая партия, кроме кадетов (возглавляемая способным и ненавидимым Милюковым, режим которого пал до того, как я приехал в Петроград), предлагала поверить в некоторого рода социализм. Все играло свою почетную роль в подпитке бьющегося сердца революции, Выборгской стороны, ради перемен. Собравшиеся рабочие в течение нескольких лет получали доступ к образованию и пропаганде. «Экспроприация экспроприаторов!» – таким был гордый пароль каждого. После того как социал-демократы раскололись на меньшевиков и большевиков в соответствии со способом организации, лозунг «Объединяйтесь, вам нечего терять, кроме своих цепей» оставался лозунгом обеих фракций. В течение многих лет то открыто, то тайно ревностные учителя несли послание социализма, которое падало в плодородную почву. Среди них Надежда Константиновна Крупская, жена Ленина, которая в Выборге снова начала по вечерам вести учебные классы для взрослых. Низкое жалование, долгие часы работы, убогие хибары, в которых ютились рабочие, придирки и преследование полицейских шпииков, суровая дисциплина организации, вынуждавшая их неустанно трудиться на фабриках, а также растущая ненависть к войне довершили остальное.

Конгломерат фабрик, представлявших русский и иностранный капитал, породил силы, которые привели к разрушению имперской России. Февральская революция, очевидно, застала всех врасплох, это был младенец, не принадлежащий ни одной партии. Зародилась она, по крайней мере, спонтанно. Домовладельцы, женщины в хлебных очередях, которые, прождав несколько часов, узнавали, что припасы все вышли, начинали повсюду бунтовать. К ним присоединялись рабочие, фабричные работницы, а также мужчины, устраивая спорадические демонстрации. Они росли до тех пор, пока не выливались в громадные массовые шествия, продолжавшиеся по нескольку дней. Солдатам и даже казакам отдавали приказ нападать, вести огонь против рабочих, в то время как сами рабочие, и опять же здесь женщины были более активны, убеждали их не расстреливать своих братьев.



И опять же почти неожиданно старые формы представительства, которые вошли в обращение после революции 1905 года, вновь возродились в Москве, в Петрограде и в других бесчисленных городах и даже в некоторых деревнях. Это были Советы рабочих и солдатских депутатов. Были также и крестьянские Советы. При старом режиме Государственная дума, городская дума и разные органы, которые не управляли, но посылали представителей в Зимний дворец, – все они были в лучшем случае изолированы от народных масс. Провинциальные делегаты, если это были крестьяне, непременно были кулаками. И когда Дума разочаровала Николая II в 1906 году, он распустил ее и выставил войска перед входом в здание, где она заседала.

Власть лежала на улице, согласно замечанию, приписываемому Ленину. Ее мог взять каждый. Однако умеренные социалистические партии, из которых социалисты-революционеры были, пожалуй, самой многочисленной, передали власть в руки буржуазии. Временное правительство никто не выбирал, но оно существовало по согласию Советов, которые полагали, что социалисты находятся под контролем. Первое Временное правительство, в котором сильными личностями были Милюков и Гучков со Львовым в качестве номинальной главы, включало единственного социалиста – Керенского. Коалиционному правительству, которое пришло на смену Временному, также было поручено вести войну ради славы союзников, русских помещиков и капиталистов. Теперь в кабинете Керенского шесть министров-социалистов. Значит, было почти столько же социалистов, защищавших буржуазию в качестве кадетов! В отчаянии, которое так сильно охватило Россию, Выборг вынашивал в своем чреве гарнизон грядущей революции. И как я напомнил Риду, по всей стране – в Москве, на текстильных и ткацких фабриках Иваново-Вознесенска, во Владимире, в угледобывающем бассейне Дона, в Нижнем Новгороде, – повсюду, где объединялись рабочие, перед ними стояла все та же суровая цель.

Один только разговор о ткацком районе и о рабочих заставил нас ностальгировать по поводу забастовок рабочих-ткачей в Соединенных Штатах. Мы говорили о нашем друге Юджине Дебсе. Он был уже немолодым, но наверняка продержался бы до конца войны. Мы это знали. Я спросил Рида, как поживают другие лидеры социалистов. Он сказал, что программа социалистов из Сент-Луиса упорно противостоит войне, однако многие начинают слабеть. Мы согласились с тем, что Альфред Вагенкнехт, Чарльз Рутенберг и многие другие предпочли бы сесть в тюрьму, чем выступить за империалистическую войну. Александр Беркман уже отбыл срок в Атланте. Беркман был анархистом; Вагенкнехт и Рутенберг, как позже выяснилось, вместе с Ридом и другими радикалами вывели левое крыло из социалистической партии и вошли в Коммунистическую рабочую партию Америки.

– Так вы думаете, что дни Керенского сочтены? – спросил меня Рид во время одной из наших прогулок.

– Очевидно, – ответил я. – А в чем дело? У вас такой нерешительный вид.

– Ничего особенного. Просто я пытаюсь выяснить, что произошло. Весной партия была крошечной. Как она достигла такого уровня?

– Мне кажется, никто на самом деле не хочет браться за работу, кроме большевиков, и так было все лето, – сказал я.

– Ну, пошли. – Он был любезен, но эти его зеленые глаза, которые порой светились диким, чуть ли не кельтским юмором (хотя, я думаю, все его предки были британского либо германского происхождения), могли также быть холодными и отстраненными. И такими они сейчас были. Решив, что я не честен с ним, он безжалостно продолжал: – Корнилов хочет работать. Керенский хочет работать. Меньшевики и социалисты-революционеры наверняка хотели работать, либо они пошли на компромисс, который им предложил Ленин<sup>6</sup>. Я слышал об этом.

---

<sup>6</sup> Это всеми забытое предложение или компромисс содержался в скромном, почти застенчивом письме, которое Ленин написал 1/14 сентября из своего укрытия в Финляндии. Он не претендовал, что говорит официально от имени своей партии;

Когда это случилось, я был в полном замешательстве.

– Да, Корнилов. Он хочет стать диктатором. Как говорил Робинс, у него даже нет лошади. Железнодорожные рабочие взорвали рельсы, так что он даже не может вывести свою армию из Могилева. А без него казаков у ворот города отговорили нападать. Ружья в руках рабочих, которые никогда не держали оружия, представляют еще меньшую силу, чем слова агитатора. Так что такова была делегация казаков, появившаяся перед Временным правительством с жалким видом; они бормотали, что никогда не позволяли низости по отношению к Советам. Корнилов был отважным генералом, однако в политическом смысле невинен, как младенец. У него нет того понимания, что есть у других. Вот почему я сказал, что Керенский и другие сторонники компромисса, меньшевики и эсеры, не хотят работать – они понимают, что сейчас со всем этим происходит. Они не желают брать на себя ответственность и предлагать серьезные и легитимные условия мирного договора всем империалистическим армиям. И они не хотят сказать крестьянам: «Теперь земля ваша!» Они понимают, что любому правительству, которое хочет удержаться у власти, придется сделать и то и другое.

– Вы слишком все упрощаете. А как насчет того, что Ленин отклонил компромисс? – спросил Рид.

– Это одно и то же. Все время, начиная с Апрельских тезисов и донныне, когда Ленин сказал массам, что они одни, без буржуазии могут управлять собой и экономикой, все эти партии завели одну и ту же песню: эволюция через капитализм. Мы не можем получить социалистическую революцию, пока не завершится буржуазная революция. Другими словами, капитализм более продвинут. А тем временем вождей меньшевиков и эсеров схватили. Они стояли бок о бок с буржуазией, подстегивая войну, поэтому теперь их «революционные принципы» свелись к тому, что им нужно объединиться в одну команду с большевиками. Согласно их принципу в это время революция зашла слишком далеко. Кучка педантов!

– И таким образом они помешали редкой возможности, как я слышал, это называл Ленин, провести бескровную революцию. Что ж, какого черта? – воскликнул Рид, плотнее укутавшись в теплую полушinelь, пытаясь укрыться от мелкого тумана, перешедшего в дождь. – Он сказал, что такая возможность продержится всего два или три дня, а потом будет слишком поздно. А потом этот грустный постскрипtum в конце его письма, в котором предлагался компромисс, когда он написал, что думает, что уже слишком поздно. Может, в любом случае ничего бы не получилось.

Я часто думал об этом письме, о котором мы услышали до того, как оно было напечатано; любопытно, что многие историки проглядели его или пренебрегли им.

– Ни один лидер, который не был бы полностью уверен в себе, не отдал бы такой приказ, – сказал Рид. – Конечно, вы не застали бы его отдающим приказ, прежде чем у него не было бы большинства в Петроградском Совете. Как глупо со стороны умеренных – выпустить из рук компромисс! По крайней мере, можно было бы подумать, что они пойдут дальше, распределят землю и покончат с войной и позаимствуют у большевиков их идеи. Фантастика!

Позже в тот же день мы были в Думе. Джон устал от своих речей, которые, казалось, мало соотносились с тогдашней реальностью.

---

однако большевики «могут и должны согласиться на компромисс только ради мирного развития революции – эта возможность исключительно редка в истории и исключительно ценна». Большевики, которых Ленин, между прочим, отмечает, в то время были в большинстве в Советах, исходя из принципа, что они не могут принимать участия ни в одном правительстве, кроме диктатуры рабочих и беднейших крестьян. Однако он предлагал, что они должны поддерживать правительство меньшевиков и эсеров, ответственных перед Советами, если обе партии порвут со всеми буржуазными партиями (имея в виду кадетов). Он также предлагал, чтобы это случилось *сейчас*. «Сейчас, и только сейчас, возможно, всего за несколько дней или за неделю или две это правительство может быть создано и консолидировано совершенно мирным путем. По всей вероятности, оно может обеспечить мирное *продвижение* всей русской революции, и это исключительно хороший шанс сделать большой шаг вперед во всем мировом движении по направлению к миру и победе социализма». Его партия будет применять революционные методы борьбы и немедленно потребует передать власть пролетариату и беднейшим крестьянам, в обмен на полную свободу пропаганды и быстрый созыв Учредительного собрания. Его письмо было опубликовано в газете «Рабочий путь» 6/19 сентября.

– По словам меньшевиков, и Моррис Хилкуит революционер<sup>7</sup>.

Выйдя наружу, мы оказались рядом с плохо одетым рабочим, который тоже явно устал от речей.

– Спросите его, правы ли вы, что никто, кроме большевиков, сейчас не хочет работать, – проговорил Рид. Это было для него характерно – он любил поверять все услышанное словами рабочих.

Я попытался остановить русского. Он бесстрастно, но пристально оглядел нас с ног до головы. Рид добавил пару слов из своего скудного запаса русского языка. Он немного научился говорить, когда был в России в 1915 году с художником Бордманом Робинсоном; у них было в некотором роде совместное задание – описать фронт европейской войны, и они прибыли в Россию, чтобы делать репортажи об отступлении русских. С одной стороны, царская полиция решила, что им нужно остаться, а на самом деле им было пора выбираться из России. Его произношение было чудовищнее моего, чтобы не сказать больше. Рабочий снова посмотрел на двух странных молодых людей, выплюнул шелуху от семечек, покачал головой и медленно произнес:

– Не понимаю, чего вы спрашиваете. Это не мое правительство. Может, это *ваша* война, но не моя. Вы буржуи, – он так и сказал, *буржуи*, – а я – рабочий.

И ушел прочь.

Рид пришел в восторг. Он сказал, что одного последнего предложения было бы достаточно. Всех интеллектуальных эсеров и меньшевиков следовало забыть. История пройдет мимо них.

– Вы буржуи, а я рабочий! – Голос Рида звенел от воодушевления и эхом разносился по коридору, что привело в замешательство старых охранников у входа. А затем он ликующе воскликнул:

– Что ж, хватит и одной почки, чтобы сражаться в классовой борьбе!

Рид имел в виду операцию по удалению поврежденной почки, из-за чего призывная комиссия освободила его от военной службы как раз перед его отплытием. Это стало любимой присказкой Джона.

Ничего удивительного нет в том, что рабочий посмотрел на нас, как на образчики обычных «буржуев». Прежде всего, мы были американцы. Мы выходили из сектора для прессы, и это второе. И, что и говорить, мы и были *буржуями*.

– Возможно, даже правящим классом, в вашем случае, – мягко заметил я. Мы любили поддразнивать друг друга.

– Да, а ваши предки в одном или двух поколениях работали на шахтах Уэльса, – напомнил мне он.

В ответ я произнес несколько нелицеприятных слов по поводу Социалистического клуба Гарварда (он не был членом клуба, но посещал несколько лекций, а сам клуб, возглавляемый его другом и критиком Уолтером Липпманном, оказывал на Рида влияние).

– Все, что нам нужно сделать, – рассуждал Джон, – это сказать, что я проповедник. Это произвело бы фурор в Смольном!

К этому времени у нас поднялось настроение. Я согласился оставить в покое Гарвард, Социалистический клуб и все прочее, а он обещал не упоминать бостонскую церковь, в которой я читал проповеди.

Рид хотел знать, какой оратор производит наибольшее впечатление – Ленин или Троцкий. Он мог теперь в любой день слушать самого Троцкого, поскольку его, Коллонтай и Луна-

---

<sup>7</sup> Моррис Хилкуит был лидером социалистической партии Америки и долгое время представителем ее в бюро Социалистического интернационала в Брюсселе. Когда в 30-х годах партия раскололась, старая гвардия сохранила лояльность Хилкуиту, как национальному председателю.

чарского 4 сентября выпустили из тюрьмы. И тогда я сбросил бомбу. Я не только посетил Первый Всероссийский съезд депутатов в июне, несколько дней спустя после моего приезда, но я и выступал там.

– Что же, – спросил Рид, – вы были на одной платформе с Лениным?

И тут я сбросил следующую бомбу. С тех пор я давно уже разочаровался во всем этом.

– И сейчас, – язвительно заметил я, – когда я сталкиваюсь с американскими социалистами, такими же зелеными, каким и я был в то время, я вовсе не отказываюсь признаться в том, что пропустил речь Ленина!

– Что? Как вы могли сделать такое?

– Очень даже легко, – ответил я. – А *вы* разве знали в июне, кто такой Ленин? Нет, американская пресса только начала вводить его в игру в июле. Что же до Троцкого – то он оратор, смутьян. Драматический. Но я расскажу вам о еще более драматическом случае, чем все, что происходило на собрании. Не забывайте, оно длилось три недели. Это произошло на второй день. Я еще не приехал, но получил это из «безуказанного источника», как говорят профессиональные репортеры.

И тогда я поведал ему теперь ставшую известной историю, как Ираклий Церетели, меньшевистский министр почты и телеграфа, произносил речь. Церетели отличался высоким теоретическим уровнем, на котором он обосновывал оправдание нерешительности правительства. Я описал Церетели – обходительного, красивого городского человека, голос его звучал почти гладко, когда он откровенно говорил о положении дел в России. Представьте себе, он затрагивал все наихудшие черты – транспортная система устарела, разваливается и не подлежит ремонту; снабжение для фронта сваливается в кучу где-то на обочине; поезда переполнены солдатами, которые самовольно покидают фронт, чтобы посадить зерновые; спекулянты захватывают в деревнях пшеницу, а в городах очереди за хлебом становятся все длиннее, крестьяне грабят хранилища, принадлежащие помещикам. Но что можно сделать? В настоящий момент нет политической партии, продолжал журчать голос Церетели, которая могла бы сказать: «Дайте власть нам в руки, уходите, а мы займем ваше место». Такой партии в России нет.

И в то время, пока министр, высокий, уверенный в себе, почти высокомерный, ждал ответа, который должны были дать печально покачивающие головой депутаты, соглашавшиеся с тем, что все безнадежно и Петроград нужно сдать, – какое-то ворчание раздалось со скамейки секции большевиков. Я объяснил, что это была маленькая группа людей, которая занимала те скамейки, в основном мужчины в кепках, рабочие в черных блузах, хотя все руководство большевиков в полном составе отсутствовало: из 882 голосующих делегатов на съезде только 105 были большевиками. И тогда, как мне сказали и как потом подтвердили официальные данные, вслед за ропотом раздалось одно тихо произнесенное слово: «Есть!»

По-русски это означает: имеется. Это было предупреждение Ленина Временному правительству и всем противникам радикальных мер. Это был манифест, состоящий из одного слова. Этот сухой, скрипучий голос, безо всякой бравады прозвучавший с задней скамьи, это односложное слово зародило во многих страх; это был боевой клич. Позже на съезде Ленин получил выделенные ему пятнадцать минут, – это время, которое предоставляли каждому оратору. Раздался издевательский смех, когда он далее сказал: «Вы боитесь власти? Наша партия готова захватить ее в любое время». И аплодировали только большевики, когда его пятнадцать минут истекли. Однако его речи было достаточно, чтобы на двадцать четыре часа уложить в постель Керенского; мой друг Михаил Петрович Янышев узнал об этом по слухам. В любом случае, после этого «Есть!» наступил спад.

Рид откинул назад голову и расхохотался. Эта история пришлась ему по сердцу. А потом он опять по своему обыкновению забросал меня вопросами. Мне пришлось описать место, где проходил первый съезд, – это была Военная школа на Первой линии, на Васильевском острове; в классных комнатах спали делегаты из провинций и Москвы, и, чтобы попасть в зал,

нам пришлось пройти по длинному, плохо освещенному коридору. Что я сказал делегатам? На самом деле я не помню. Потом я добавил, что это не имеет значения, потому что переводчик в любом случае сказал то, что, по его мнению, я собирался сказать.

– Я не помню, что именно я говорил, но думаю, что вряд ли был настолько смел, чтобы сказать то, что опубликовали «Известия» в изложении моего переводчика. И это, имейте в виду, после скромных первых реплик о том, что я привез приветствие от американских социалистов. «При этом мы не должны указывать вам, что делать, мы не собираемся ничего советовать, но мы чувствуем, что зарубежные социалисты признательны вам за героические действия в феврале».

Тогда я вообще не понимал по-русски и поэтому находился в блаженном неведении о том, что мой переводчик перескочил на чистый и понятный призыв к пролетарской революции, как это предписывают Апрельские тезисы Ленина. Я смутно удивлялся, почему председатель съезда, Николай Чхеидзе, грузинский меньшевик, который с таким энтузиазмом попросил меня выступить, произнес свою ответную речь как-то прохладно в ответ на слова, которые, как я думал, были простым братским приветствием. В то время понятия не имел о значении терминов «политическая революция» и «социальная революция» даже притом, что русский язык моего переводчика я понимал. И теперь, рассказывая все это Риду, будучи уверенным, что он не больше разбирается во всем этом, я описал ему, каким наивным был во время съезда. Я находился в Петрограде всего дней десять, когда выступил на съезде, и, естественно, меня озадачило количество партий и их политических убеждений.

Выступая перед громадной толпой на первом съезде, видя рабочих, одетых в форму цвета хаки делегатов с фронта, поляков, литовцев, латышей, татар, казаков, я испытывал огромное возбуждение и в то время полагал, что все они надежно объединены и все верят в социализм. Для меня вся эта аудитория представлялась как одна счастливая социалистическая семья. Вряд ли я был далек от истины. Правда, тот же Чхеидзе, как председатель Петроградского Совета, официально приветствовал Ленина, когда тот в апреле прибыл на Финляндский вокзал из Швейцарии вместе с двадцатью девятью другими политическими изгнанниками. Он приехал в немецком поезде (так же, как Мартов и многие другие путешествовали до этого дня и позже, поскольку это был единственный путь, которым они могли добраться до дома). В своей приветственной речи Чхеидзе говорил о необходимости сомкнуть ряды, чтобы защищать «нашу революцию». Однако революция, о которой говорил Ленин в своей ответной речи, сжимая в руках букет цветов, который кто-то преподнес ему, и глядя мимо Чхеидзе на солдат, матросов и толпы рабочих, стоявших за дверью царской приемной в ожидании его, – явно не буржуазно-демократическая революция Чхеидзе.

Вплоть до этого момента именно такая революция должна была произойти – это допускали все, даже большевики, либо в речах, или в своем органе – в газете «Правда», издаваемой Каменевым и Сталиным. Русские рабочие сбросили династию Романовых в феврале, и этого было вполне достаточно. Впрочем, не для Ленина. *Тогда* он не призывал свергнуть Временное правительство, революция, которую он планировал, была революцией социалистической, как она была оговорена Марксом и прочими, как та, что сможет передать средства производства и правительство в руки рабочих, и та, за которой они единственно смогут последовать. И теперь я долго все это вычислял, если не сказать, что красноречиво упрашивал, по крайней мере, так говорил мой переводчик, ибо его письмо, наконец, дошло до меня через несколько дней, насчет свержения их Временного правительства!

Теперь, когда Джон узнал всю историю, он расхохотался и заставил меня повторить, что ответил Чхеидзе, когда он показался «немного прохладным» в ответ на мою страстную просьбу. Эта была ситуация такого рода, которой Рид всегда упивался, и я сам начал наслаждаться ею – стоит ли говорить, что в первый раз.

– О, Чхеидзе? – ответил я. – Он ничего не сказал. Ничего особенного... только то, что они ждут «товарищей-социалистов» из других стран, чтобы те вынудили свои правительства заключить мир на условиях, о которых меньшевики не раз говорили. Чхеидзе сказал, что ученого учить нельзя, но все же они хотели бы, чтобы их научили, и нетерпеливо ждали урока – потому что сами положили начало этому уроку.

Рид уже вытирал глаза, мокрые от смеха.

– Ничего удивительного, – заметил он, – что вас так ценят в посольстве!

– А как насчет вас? – возразил я. – Я так понимаю, что посол пристально изучил речь, которую вы произнесли перед комитетом съезда насчет закона о призыве незадолго до того, как уехали из Штатов.

– Но это же свои люди, Альберт. Я не приезжал сюда и не называл их кучкой мошенников из-за того, что они не закончили свою работу. В конце концов, мы избавились от короля Георга во время своей революции, но у нас все еще есть Генри Форд и Пьерпонт Морган. Элиу Рут приезжает и говорит им, что делать с их революцией<sup>8</sup>, а вслед за ним прибывает Альберт Рис Вильямс. О да, один исключает другого.

– И тогда появляются Робинс и Томпсон со своим универсальным лекарством.

Мы сели в троллейбус, который увозил нас от Смольного. Я вспомнил, что так и не ответил на вопрос Рида насчет того, кто был лучшим оратором – Ленин или Троцкий.

К тому времени я изучил все речи Ленина начиная с апреля, в соответствии с тем, как они были переданы в прессе. Это стало частью моего изучения русского языка. Фигуры речи у Ленина не были драматическими. Троцкого я слышал; его речи были пламенными, как мне казалось, но возможно, это из-за того, как он их преподносил. Речь Ленина была ровной, неприкрашенной. Но вдруг какая-то фраза или предложение поражает тебя, сказал я Риду. Может, пройдет несколько дней, пока ты будешь ее обмозговывать. *Вот оно*, скажешь ты. *Вот оно!* Он всегда говорит: «Давайте делать революцию» и показывает, как это можно сделать.

– Вы говорите, как законченный большевик, – полушутя заметил Рид.

На самом деле мы с Ридом приехали в Россию не в качестве большевиков, полностью убежденных или просто зарождающихся. Мне предстояло отразить атаку позже – в 1919 году, когда памфлетист Генри Л. Слободин обрушился на меня в прессе статьей, написанной в качестве предполагаемого опровержения моего маленького памфлета под названием «76 вопросов и ответов о большевиках и Советах». По его мнению, я – девственно невежественный человек, прибывший в Россию, не имея ни малейшего представления «о большевизме, социализме и русском языке». Несомненно, в этом обвинении была некоторая доля правды.

Выступить с какой-либо оценкой революции было в те дни весьма непростым делом. В идеале это требовало воображения, понимания, изрядной доли политической искушенности, некоторого опыта классовой борьбы, знания социалистических партий со всеми их разными оттенками, а также знания русской истории. Стоит ли говорить, что ни один американец не мог бы справиться с такой задачей. Среди людей с социалистическим прошлым только у Джона Рида и у меня не было официальных или псевдоофициальных государственных заданий, которые нам предстояло выполнить. Мы одни ставили «социализм» перед «патриотизмом», то есть перед поручением судить обо всем с позиции того, станет ли новое правительство вести войну, в которую Америка формально вступила в апреле 1917 года. По сравнению с Сэмом Харпером

---

<sup>8</sup> Рут – американский юрист, государственный и общественный деятель. Был на удивление мрачным и холодным человеком, и странно, что его выбрали возглавлять миссию, рассчитанную на то, чтобы распространять солнечный свет и легкий глянец на русских, вступивших снова в войну. Самая грубая ошибка Рута – это его речь перед Советом министров в Петрограде 2/15 июня, в которой он, похоже, намеревался лишь побудить русских начать сражаться против германцев и продолжать выполнять царские обязательства. Но не грубый Рут, а мягкий Терещенко говорил по поводу Декларации независимости Америки и о «самой старой и сильной демократии». В кн. Макса М. Лазерсона «Влияние Америки на Россию, 1784–1917» (Нью-Йорк, 1950. С. 417–418) он называет ее (речь) «вероятно, последним проамериканским заявлением, сделанным демократичным русским министром».

из Чикагского университета, с кем я в июне прибыл в Петроград, наша невежественность в области русской истории и языка была по-настоящему безмерной. И все же мы знали о вещах, которые, возможно, оказались более полезными по прибытии и для оценки, которая могла хотя бы приблизиться к истории.

Мы оба, хотя и несовершенно, отождествляли себя с рабочим классом. У нас был личный опыт рабочего движения, профсоюзов, забастовок. Мы знали Билла Хэйвуда, великого вождя шахтеров и создателя профсоюзной организации «Индустриальные рабочие мира», а также Джима Ларкина, организатора Союза рабочих транспортников в Дублине и лидера дублинской забастовки 1913 года. Ларкин приехал в Соединенные Штаты, чтобы собрать средства, когда забастовка потерпела поражение, его собирались посадить в тюрьму, к тому же его возвращение могло совпасть с возможной революцией в Ирландии. Я проводил кампанию в пользу Юджина Дебса, когда он в 1912 году боролся за пост президента от социалистической партии и набрал 800 000 голосов. Рид освещал Мексиканскую революцию и ездил по стране с Вильей. Я три месяца был военным корреспондентом в Европе для журнала «Взгляд». В своих рассказах о Людлоу, Колорадо, о забастовке и о гибели рабочих, женщин и детей, виновниками которых были милиция и депутаты с автоматами (эти истории были напечатаны в журнале «Метрополитен») он создавал некое подобие репортажей, которые затем составят основу его книги «Десять дней, которые потрясли мир». Рид еще раньше принимал активное участие в «шелковой» забастовке, а затем в кровавой забастовке рабочих-ткачей в Лоуренсе, Массачусетс, в 1912 году. Во время забастовки с Лоуренсе Рид вступил в профсоюз «Индустриальные рабочие мира».

Теперь, в ответ на его колкость относительно того, что я говорю как профессиональный большевик, я отошел от своего привычного подшучивания и перешел на серьезный тон, вычислив, что это – именно то, что он хочет. Я не претендую на то, что вспомню точные слова, которые говорил, но я сказал, что за три месяца, что я провел в России, я повзрослел. Революция – не такое дело, чтобы с этим можно было просто играть. В ней нельзя принять участие, а потом просто забросить. Это нечто такое, что захватывает тебя целиком, потрясает, завладевает полностью. Нет, сказал я тогда, я не большевик, если он собирается воспринимать это слово буквально.

И тогда, еще до того, как я сам понял это, я принял решение и почему-то чуть ли не воинственно заявил:

– Я собираюсь работать с ними точно так же, когда они найдут какую-нибудь работу для меня, потому что, как я это понимаю, большевики хотят добиться некой социальной справедливости, которой хотим мы с вами. Они хотят этого *сейчас*. И готовы отдать за это свою жизнь – и многие, несомненно, так и сделают. Я хочу того же, что и они, – чтобы каждый человек сполна получал за свой труд, чтобы никто не ел пирожные в то время, когда у других нет и хлеба, и поэтому я собираюсь работать вместе с ними. Если вы можете найти какой-нибудь лучший способ помочь совершить революцию, дайте мне знать.

Почему мне пришлось говорить так раздраженно об этом с Ридом, который пристально смотрел на меня своими ясными зелеными глазами, которые становились такими внимательными в минуты особой серьезности, что можно было предположить, что он даст какой-нибудь дерзкий ответ. Я не мог тогда больше заблуждаться. Если человек тебе нравится, это не значит, что ты хорошо разбираешься в нем. Рид мне был симпатичен, он мне понравился еще в Нью-Йорке, когда я не слишком хорошо его знал. Мне нравились в нем и общепризнанные добродетели, и все те качества, которые кляузные критики считали его недостатками (если это можно назвать недостатками). Многие черты Рида лишенный чувства юмора Уолтер Липпманн никак не мог понять. На приемы актера, бьющего на дешевый эффект, на его кипучие выходки и гримасы и шутки я реагировал с восторгом; для Липпманна, будущего авторитетного апологета Республиканской партии, все эти проделки делали Рида шутком. Впрочем, как и меня. Но это

не позволяло предположить, что у меня было хотя бы отдаленное предчувствие, что Джон Рид вернется домой, чтобы образовать коммунистическую партию, или умрет через несколько лет в России как мученик революции и будет похоронен возле Кремлевской стены.

В том же ключе я сказал Риду, рискуя показаться самоуверенным, что это совсем не значит быть оппозиционером на родине. Кем были мы оба, когда на нас обрушилось все это? Парой дилетантов. Что ж, здесь такое невозможно. Либо вы на стороне Ленина и его партии, либо становитесь апологетом войны, как Сэм Харпер и Буллард, который говорит парням в Вашингтоне то, что они хотят услышать, – что Керенский останется у власти, а крестьяне начнут воевать прямо сейчас.

Артур Буллард, романист, писал заметки из Москвы в Государственный департамент, как это делал Харпер вплоть до недавнего отъезда из Петрограда. В то время как его репортажи были более достоверными и информативными, чем опусы посла Фрэнсиса, я был уверен, что они не такие уж просветительские.

Рид в любом случае был репортером и не собирался уклоняться от обобщений или речей. Когда и как я приобрел свои политические убеждения? Как долго я блуждал посреди гущи политических партий с их сложными теоретическими различиями и в этом стремительном потоке, где взаимоотношения сил менялись почти еженощно, прежде чем я сформировал какое-либо особое убеждение? Чтобы ответить ему, мне пришлось проанализировать, что произвело на меня самое глубокое впечатление – Ленин или большевики. Я продвигался вперед не гладко и беспорядочно, да и выводы делал не без отступлений назад и сомнений. Нельзя было сказать, что, наблюдая определенные события, во вспышке понимания умел разглядеть свет.

Мы вернулись к Апрельским тезисам Ленина. Их значение стало яснее для меня после разных бесед с моими русско-американскими друзьями. Забавно, сказал я, что большевики второго и третьего потока, включая активистов из вернувшихся эмигрантов, по сравнению с высшими вождями партии с самого начала приветствовали появление Апрельских тезисов. По крайней мере, они так говорили мне в июне, и все они были точны до дотошности. На самом деле Ленин зависел от них, тех, кто мог убедить вождей.

Окажется ли Ленин прав со своими Апрельскими тезисами – этот вопрос стал для меня великим испытанием. С 12 по 28 июля я ездил с Михаилом Янышевым, большевиком и одним из моих самых близких русско-американских друзей, в Спасское и в близлежащие деревни. Немало времени мы с ним тратили на то, чтобы обсудить предложения Ленина.

Ленин говорил, что большевики должны терпеливо и упорно объяснять «только что пробудившимся массам», что Советы рабочих депутатов – *единственно возможная* форма революционного правительства, и убеждать передать всю власть Советам. Временному правительству, которое тогда возглавлял князь Львов, нельзя было оказывать никакой поддержки, и нужно было подчеркивать всю лживость обещаний этого правительства. Он призывал «не к парламентской республике – ибо возвращение к ней станет шагом назад от Советов рабочих депутатов, – но к республике Советов рабочих, трудовых и крестьянских депутатов по всей стране, сверху донизу».

Конфискация помещичьих имений и национализация *всей* земли – вот к чему призывал Ленин. Землей должны были распоряжаться местные Советы работников сельского хозяйства и крестьянские депутаты. Он требовал создать отдельные Советы депутатов для беднейшего крестьянства. А также предвидел создание образцовых ферм в каждом крупном поместье (от 100 до 300 десятин; каждая десятина равнялась примерно  $2\frac{2}{3}$  акра, по решению местных учреждений), которые должны были контролироваться Советами работников сельского хозяйства. Эти бедные крестьяне, которых Ленин называл полупролетариями, не были организованы ни тогда, ни даже после Октябрьской революции, и какими бы разнообразными ни были проблемы



большевиков, лишь угроза голода в городах вынудила их настроить работающих крестьян против кулаков.

Он призывал к упразднению полиции, армии, бюрократии и предлагал заменить армию универсальным народным ополчением. Все банки должны были слиться в единый национальный банк. Что касается войны, она могла превратиться в «революционную национальную оборону», только если: 1) власть будет передана пролетариату и беднейшим слоям крестьянства, примкнувшего к рабочим, 2) при отказе от всех аннексий и 3) при полном разрыве со всеми интересами капиталистов.

Это была вполне жесткая программа при всей ее сложности, поскольку в тех условиях она не могла быть выполнена, если бы не был сброшен капитализм. И в то время Ленин признавал, что из всех воюющих стран Россия под Временным правительством была самой свободной, она оставалась капиталистическим государством, а война – грабительской войной империалистов.

Почему эти Апрельские тезисы вожди его же большевистской партии встретили потрясенно и озадаченно? Рид хотел это понять. Это привело к долгой дискуссии, в конце которой мы поздравили себя, что ни один из нас толком не знает ни Маркса, ни Энгельса, не говоря уже о том, как интерпретировали Маркса меньшевики, социалисты-революционеры и чистые большевики. Мы так и не пришли к мнению насчет того, какой следующий шаг должна предпринять революция. (В то время никто из нас не знал, что Маркс в 1887 году считал, что «на сей раз революция начнется на Востоке...», то есть в России<sup>9</sup>.)

В этих скромных, как может показаться на первый взгляд, осторожно высказанных предложениях, которыми Ленин здесь повсюду четко призывает к свержению Временного правительства, он выбил фундамент из-под ног собственной партии, равно как и из-под ног других перепуганных «марксистов». Поскольку все они уютно трусили рядышком, включая большевиков, при двойной власти Временного правительства и Советов рабочих депутатов с убеждением, что в то время невозможно добиться ничего другого, кроме как политической демократии, завоеванной в феврале. В это время появляется «безумец», как его называли на следующий день в прессе; этот претендент на корону Бакунина, как презрительно называли Ленина меньшевики, когда он обратился к ним и большевикам в своих тезисах и спросил: «Чего мы ждем?» Итак, сказал я, Ленин метался перед лицом социалистической традиции, которая полагала, что должна свершиться буржуазная революция, прежде чем обучившийся пролетариат сможет совершить революцию и посеять соответствующее зерно, чтобы сохранить ее.

– Значит, те, кто отпрянул от Ленина, утверждают, что буржуазная политическая революция не завершена, так, что ли? – спросил Рид.

– Ленин не сказал, что она завершена, во всяком случае, я так понял, – ответил я. – Все это очень сложно. Ленин не упомянул, в какой момент должен состояться переход к социалистическому правительству. Он лишь сказал, что нужно сделать эти первые шаги, в том числе передать производство и контроль над распределением продукции в руки Советов рабочих депутатов.

– Когда? Это важный вопрос. – Рид всегда вплотную подходил к самым сложным частям проблемы, я же всегда видел сияющую общую картину. Поэтому из нас получилась хорошая команда.

---

<sup>9</sup> Маркс объяснял в письме к Фридриху Альберту Зорге, немецкому коммунисту, эмигрировавшему в Соединенные Штаты и ставшему генеральным секретарем Первого Интернационала в Нью-Йорке: «Этот кризис (Русско-турецкая война и ближневосточный кризис) – *новый поворотный пункт* в европейской истории. Россия давно стояла на пороге подъема, все элементы ее были готовы к нему – я изучал местные условия из оригинальных русских источников, неофициальных и официальных (последние могли находиться лишь у немногих людей, которые получали их от своих друзей в Петербурге...). Все слои русского общества экономически, морально и интеллектуально совершенно разъединены. На этот раз революция начнется на Востоке, там стоят нерушимые бастионы и резервная армия контрреволюции». *Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Переписка 1846–1895 годов. Нью-Йорк, 1935. С. 348–349.*

– Предположим, вы спросите у меня, когда его партия завоюет большинство. Он так не говорил, но в Апрельских тезисах неоднократно предупреждал, что у них *нет* ничего похожего на большинство. Поэтому он говорит: «Вся власть Советам», хотя тогда, в апреле, они еще не были учреждены.

– А сейчас? – настаивал Джон. Наверное, мы с ним беседовали после 9 сентября, ибо он указал на то, что теперь у большевиков было большинство в Московском Совете, равно как и в Петроградском, и что Троцкий стал председателем Петроградского Совета. Оба Совета проголосовали большинством голосов за правительство Советов, более того, и за вотум недоверия Временному правительству. То же самое в Киеве и в Финляндии.

– Это правильно. Наверное, вы хороший предсказатель. Рид. Теперь это будет скоро!

– Интересно, как это будет, – усмехнулся Рид, – оказаться в шкуре Либера или Дана или даже старика Мартова, не говоря уже о Георгии Плеханове. Практически за любым из вождей, анархистов, меньшевиков, социалистов-революционеров, левых или правых, равно как и большевиков – годами охотились, отправляли в Сибирь или гноили в кишачих вшами российских тюрьмах. Помимо борьбы с классовыми врагами им приходилось сражаться друг с другом – каждая группа считала, что она права, каждая по-своему истолковывала Маркса, или анархисты боролись с эсерами из-за Бакунина или Кропоткина. Какими выбитыми из седла должны себя чувствовать старые упрямы, какими добродетельными, когда они видели, как их товарищи переключились на Ленина! Мученики, святые в своем роде, в свое время; а теперь они отжили свой век. Они признают, что Ленин может принести мир, хлеб и землю. Однако именно это они не могут простить ему и поэтому так яростно поддерживают Керенского.

И затем совершенно неожиданно Рид сделался репортером-скептиком: как я могу быть уверен, что Ленин не идет слишком быстро ради масс? Учитывая, что другие лидеры большевиков – Каменев, Рыков, Бухарин например (Троцкий, Рязанов, Луначарский и другие члены Межрайонного комитета формально объединились только после их ареста 23 июля), недооценивали настроение народа в апреле; а доказывает ли это, что Ленин не переоценивает пролетариат сейчас?

Это был хороший вопрос, и мы надолго над ним задумались. В конце апреля Ленин победил, благодаря убеждению тех вождей, которые вначале, за исключением нежной, но упрямой Александры Коллонтай, были страшно напуганы Апрельскими тезисами. Большевики выдвигали только одну программу, которую могли поддержать массы; мир, землю и хлеб и передачу всей власти Советам. Но кто станет двигать массами? Вот в чем вопрос. Или Ленин был гением, который понимал, как будут чувствовать себя русские массы в эти несколько месяцев, в этом случае его Апрельские тезисы станут стандартом, под который им разумнее будет подстроиться, или он хотел навлечь беду? На некоторое время, когда шли страшные репрессии июльских дней, мною владело сомнение.

По сути, большевики остались без лидера: Ленин скрывался, Троцкий сидел в тюрьме. Несмотря на то что Троцкий не вступал в коммунистическую партию (он сделал это лишь в августе), никто не сомневался, что он, наряду с Лениным, – самая могущественная и активная революционная фигура. А с момента его возвращения в мае Троцкий признавал в Ленине протагониста и пропагандиста, вокруг которого должна сфокусироваться грядущая революция.

Однако обвинения в адрес Ленина, публикации в буржуазной прессе в Петрограде о письменных показаниях, фальшивых и низкопробных, как об этом было известно во всех посольствах и любому политическому лидеру, которые обвиняли его в том, что он принял германское золото, возымели свое действие. Некоторое время на заводах были люди, которые верили этому. Членство в рядах партии большевиков сократилось.

Между тем из своего укрытия в Финляндии Ленин продолжал руководить партией. Пользующиеся доверием гости посещали его; Крупская навещала Ленина, пробираясь в темноте через поля; он отправлял письма товарищам, в газеты. И продолжал распространять свои непо-

пулярные идеи, совершенно неожиданно вдруг становившиеся популярными. А сам он никогда не терял популярности. Теперь, в сентябре, большевики стали признанным голосом в гигантской стальной кузнице, на Путиловском заводе, и на других фабриках.

Рид был неумолим, и в конце этого особенного вечера в Выборге он словно завелся. По нашем возвращении его энтузиазм по поводу Красной гвардии казался беспредельным; он возбуждался от прямых, простых выступлений ораторов-большевиков. Оратор от меньшевиков презрительно сказал в Думе, что Ленин обещает рабочим «рай». Это не увязывалось с речью, которую мы слышали в тот вечер от ученика Ленина, прокомментировал Рид. Нет, ответил я, большевики в целом, и Ленин в особенности, не уплывают в заоблачные дали. Они немного размышляют о будущем и избегают, как чумы, цветистых речей. Я не могу вспомнить, чтобы слышал какие-либо разговоры о рае в революционных речах. Когда я впервые вник в слова Ленина, значение их показалось мне суровым и бескомпромиссным.

– Ленин может быть резок. Однако его исходный гуманизм, его глубокая забота о том, что человек должен родиться заново и управлять собственной судьбой, – может, это делает его жестоким.

Рид поддразнивал меня насчет того, что я увлекся.

– Запомните, товарищ, марксисты не делают героев из своих вождей, – сказал он, и в глазах его мелькнул злой огонек. В любом случае, он понял, что я хотел сказать.

Он заговорил о немце Карле Либкнехте, который проголосовал против, когда 110 других депутатов-социалистов в рейхстаге проголосовали за военный бюджет.

– На вас произвела впечатление честность Ленина в противоположность запаху лицемерия, исходящему от меньшевиков и лидеров правых эсеров, – сказал Рид.

– Точно, – ответил я. – И его ощущение реальности. – Я процитировал отрывок из апрельской речи, которую, с помощью Янышева, я почти сохранил в памяти: о том, что у большевиков еще нет большинства; и «в этом случае лозунг должен быть такой: осторожность, осторожность и осторожность. Основывая нашу пролетарскую политику на чрезмерном доверии, мы обрекаем ее на провал».

– Это интересно, – заметил Джон, – потому что Ленин сейчас проповедует смелость.

– Да, – ответил я, – он такой; будьте смелыми, будьте дерзкими, но не слишком гибкими. Условия меняются; ни одно правило не остается неизменным. Мои друзья-марксисты здесь сообщили мне, что душа марксизма состоит в том, чтобы не дать опутать себя какой-либо предвзятой идее, даже марксистской!

При этом Рид разразился хохотом, хлопнул меня по спине и поинтересовался:

– А как вы думаете – мы когда-нибудь получим образование? Или на всю жизнь останемся гуманитариями? Дилетантами?

И потом, как это с ним часто бывало, у него неожиданно поменялось настроение; на этот раз на поверхность выплыла угрюмость. Это было первый раз, когда я увидел его таким, хотя потом мне не раз приходилось наблюдать его уныние. Другие описывали это как депрессию, но это состояние было гораздо сложнее.

– Какое это будет иметь значение, раз мы все равно вернемся домой? – мрачно спросил он. – Легче, когда нас воспаляет то, что творится здесь. Нас вознесет на небо мысль о том, что мы великие революционеры. А что на родине? – Он горько засмеялся. – О, я всегда могу организовать другой маскарад!

Я научился распознавать эти полуобвинительные настроения у него как часть его личности, поскольку все вокруг нас находилось в постоянном движении. И он, и я понимали, что маскарад, который он затеял, когда рабочие шелковой фабрики в Патерсоне вышли на стачку в Мэдисон-Сквер-Гарден, был совершенно правильным и даже замечательным артистичным действием. Этот маскарад был хорошей агитацией, повлиявшей на бастующих мужчин и женщин, которые участвовали в стачке и способствовали тому, чтобы ее так просто не разогнали.

Однако мы также понимали, что Рид и я оторвались от забастовки; закончился карнавал, и они с Мэйбл Додж влюбились друг в друга. Мэйбл Додж была богатой женщиной, она вела богемный образ жизни в Гринвич-Виллидж и носилась с анархистами, рабочими вожаками и писателями левого толка. А в то время любой творческий человек в Нью-Йорке был более или менее радикалом. И в тот самый период, когда стачка была подавлена, и пал духом сам Рид (делая репортажи о забастовке, он до такой степени идентифицировал себя с забастовщиками, что даже позволил арестовать себя и засадить в тюрьму), Мэйбл Додж удалось утащить свой приз. Рид и другой фаворит на вечеринках Мэйбл, Роберт Эдмонд Джонс, который написал сценарий для маскарада-стачки в Патерсоне, были отвезены лично на виллу Мэйбл во Флоренции, в Италию. Рид в конце концов вырвался из ее цепких любовных объятий, сбежал домой и привязался к Луизе Брайант, почувствовав, что она – родственная ему душа. (Затем они тайно поженились в Пукипси, Нью-Йорк, в начале ноября 1916 года, до того, как Рид попал в госпиталь Джона Гопкинса в Балтиморе по поводу операции на почке.)

Это было проклятием Рида – такая противоречивая личность, живая, легкая на подъем душа, творческий талант и в то же время сидевший внутри него насмешник, издевавшийся над ним самим. А теперь он боролся с собственным отношением к событиям, разворачивавшимся в Петрограде, когда его чувство истории подсказывало ему, что человечество достигло поворотного пункта, и это бросало вызов всем его силам. Хочет ли он этого? Перепады настроения – естественные колебания молодого, очень живого американца, поставившего себе целью более трудную задачу, чем те, что ему когда-либо приходилось решать.

Конечно, я не был справедлив к Риду и к себе, когда говорил, что теперь мы стали чуть больше чем просто дилетанты. Я слишком преувеличивал, мы играли друг с другом. Это было формой подшучивания, скрывавшей внутри нас невнятные, очень серьезные вопросы – о нас, о других людях, с которыми мы встречались, и о старом мышлении, – обо всем, что могло столкнуть нас с пути или предоставить удобные иллюзии. Но мы, наконец, смогли устранить все препятствия в общении и сумели признать, что мы оба в этой революции стояли на обеих ногах. Мы приняли решение.

## Глава 2

### Русские американцы

С самого начала моим русско-американским друзьям Джон Рид пришелся по сердцу.

Он был неугомонным, ищущим молодым человеком с обостренным чувством справедливости и жадой приключений. То, что он отождествлял себя с забастовщиками и с рабочим людом, было с его стороны пылким, но судорожным чувством. Он был повстанцем, но никоим образом не революционером. Революционером его сделала Октябрьская революция. Поэт, драматург и сатирик, он видел революцию преимущественно в ее живописных аспектах. Однако его честность требовала большего: требовала объяснения того, как работали кажущиеся на первый взгляд слепыми силы, – эти поиски закончились лишь с его смертью, сделавшей его легендарным человеком во всем мире, вечно юным и страстным, творческим западным человеком, выполняющим свою миссию<sup>10</sup>.

В этих поисках Риду очень помогали русские американцы, большинство из которых приехали раньше меня, а другие продолжали прибывать до Октябрьской революции и после нее. Должен сказать, что и он платил им доверием и сердечной привязанностью.

Многие из русских, живущих в Америке, которые были нашими с Ридом переводчиками, наставниками и друзьями – стали большевиками. С некоторыми мне довелось познакомиться во Владивостоке, и получилось так, что они заняли большое место в моем сердце. Помимо Михаила Петровича Янышева, там были выдающийся В. Володарский, или Моисей Маркович Гольдштейн, Яков Петерс, русский политический эмигрант в Англии, и Самуил Восков.

Еще среди них был Александр Краснощеков, который один из эмигрантов, находясь в Америке под именем Тобинсон, принадлежал к среднему классу. Прибыв в июле 1917 года во Владивосток, он сразу же вступил в партию большевиков и был направлен в Никольск-Уссурийск, где его избрали председателем Совета народных комиссаров Дальнего Востока. Местная буржуазная газета быстро назвала его «иммигрантом-рабочим» и заметила, что читателям, должно быть, «стало стыдно из-за того, что ими управляет носильщик, мойщик окон из Чикаго». Ни один из других большевиков, которых я знал, не отреагировал бы так же, как Краснощеков. Однако ни один из них и не был человеком из Чикаго, педагогом и адвокатом, каким являлся Краснощеков, и, когда он напомнил об этом редактору в письме, тот оскорбился. Между тем Краснощеков был политиком и размышлял о том, как бы пробиться через

---

<sup>10</sup> Путешествуя с фальшивым паспортом, Рид предпринял опасное возвращение в Россию после революции, в 1919 году, когда блокада против Советов все еще держалась, чтобы получить удостоверение личности от коммунистической трудовой партии. Исполнительный комитет Коммунистического интернационала был учрежден в марте того года. Делегацию, которая заявила о признании соперничавшей коммунистической партии, возглавлял Луис Фрайна. (Обеим группам было приказано объединиться.) Находясь в России, Рид узнал о набегах на квартиры обеих групп коммунистических партий в Нью-Йорке; это произошло в ноябре, и ему также было предъявлено обвинение наряду с другими. Он готовился возвратиться, но не раньше, чем соберет обширный материал, ибо Рид был репортером и планировал написать не только вторую, но и третью книгу, чтобы «Десять дней» стали трилогией. (Рукописи, фрагменты и записные книжки с материалом свидетельствуют о его работе.) После одной-двух неудач он все же пересек границу по дороге домой, но добрался лишь до Або, в Финляндии, где был арестован по обвинению в «контрабанде», и его тринадцать дней продержали в одиночной камере тюрьмы в Або. Узнав, что все это было организовано советскими властями, чтобы обменять его на финских заключенных, он сообщил своему финскому представителю, господину Мальмбергу, 25 мая 1920 года, что он решает отозвать свою просьбу об американском паспорте. В постскрипте он заявил: «Предоставляю на ваше усмотрение вопрос о том, как информировать Магрудера (из консульства США) о моем решении. Весьма вероятно, что он не выдаст паспорт или даже не ответит на мою просьбу. Причина моих действий по этому делу состоит в том, что финское правительство допустило американские власти до моего паспорта» (Собрание Джона Рида, Хьюгтон Лайбрери, Гарвардский университет). Истощенный, с язвами по всему телу из-за плохого питания, Рид в июне прибыл в Москву и бросился на подготовку ко Второму съезду Коммунистического интернационала. Когда съезд завершил работу, он отправился вместе с другими членами Исполнительного комитета в Баку, чтобы участвовать в съезде восточных народов. Проезжая по стране, где свирепствовала эпидемия тифа, он подхватил инфекцию и умер в Москве 17 октября 1920 года. 20 октября ему исполнилось бы тридцать три.

местные Советы в редакцию газеты. В ту минуту, когда он вошел в зал заседаний, люди поднялись и начали приветствовать его криками: «Наш! Наш!» – и сказали ему, как они были счастливы прочитать ту историю в газете. «Мы думали, что вы – буржуй. А теперь узнали, что вы – один из нас, настоящий рабочий!» Письмо оставалось у него в кармане, после он разорвал его. После того как его схватили белые и посадили в тюрьму в Иркутске, а затем освободили во время местного мятежа в январе 1920 года, он был избран президентом Дальневосточной республики.

Механик Янышев работал во многих городах – на доках в Гамбурге, на угольных шахтах в Австрии, в Токио и в Марселе, и среди прочих – в Бостоне, Детройте и повсюду в Америке. Володарский, революционер с четырнадцати лет, жил в Соединенных Штатах с 1913 по 1917 год и был членом Американской социалистической партии; был членом Петроградского Совета даже в «июльские дни», его очень любили как оратора в задымленных рабочих кварталах на Выборгской стороне. С июля он был главной силой, раскачавшей 400 000 рабочих на Путиловском сталелитейном заводе, и прошел путь от эсера до большевика.

Восков был профсоюзным организатором в Нью-Йорке – от союза плотников и столяров № 1008. До этого он принимал участие в забастовках на Среднем Западе и знал из первых рук, что избивание рабочих агитаторов в Соединенных Штатах в беспокойное время – явление распространенное.

Немного позже приехал мой друг и товарищ Арнольд Янович Нейбут. Нейбут был лидером Чикагской секции Американской социалистической партии, в 1916 году он работал в Калифорнии, когда я там проповедовал, а позже работал в нью-йоркской Гринвич-Виллидж. Возможно, я познакомился с ним в одном из этих мест, однако один эпизод в особенности ярко сохранился в моей памяти. Это был незабываемый день в марте 1917 года. На станции метро у Кристофер-стрит, недалеко от моей комнаты в Виллидж, я заметил человека, стоявшего у газетной вывески. Вокруг него суетилась толпа, однако он не обращал на нее никакого внимания, уставившись на крупный заголовок: «ЦАРЬ ОТРЕКАЕТСЯ – ПАДЕНИЕ РОМАНОВЫХ». Я видел, как у него по лицу текли слезы. Это был Нейбут. Я стал пробираться к нему, но прежде чем я смог это сделать, он сунул газету в карман и побежал вниз по ступенькам, ведущим в метро. Я примкнул к толпе, покупавшей газеты, и подумал: «Вот оно пришло!» И почти сразу же я понял, что еду в Россию...

Нейбут – латыш, как и Яков Петерс, и не было более воинствующих революционеров, чем латыши, – вернулся в апреле 1917 года через Владивосток и оставался там достаточно долго, чтобы его послали в качестве делегата в Учредительное собрание и на Третий Всероссийский съезд Советов. Любезный, разносторонний, он выступал как корреспондент большевистской газеты во Владивостоке, позже служил в Красной гвардии, был мужественным и изобретательным командиром.

Петерс – молодой человек с вьющимися волосами, любил поэзию и пытался небезуспешно во время этих сентябрьских дней вдохновить Джона процитировать некоторые из его стихов. Через несколько месяцев он вырвался из мрака неизвестности и попал в заголовки всех газет мира. В качестве первого помощника Феликса Дзержинского, главы Чека, Петерс стал известен западному миру как «кровавый Яков Петерс».

Бесси Битти описывает Петерса как типичного радикала и истового революционера, взращенного угнетением балтийских провинций.

Якову Петерсу было тридцать два года, но он выглядел моложе. Это был яростный, быстрый, нервный невысокий парень с копной вьющихся черных волос, которые он зачесывал назад ото лба; курносый нос придавал его лицу вопрошающее выражение, а пара голубых глаз была полна нежности и доброты. Он говорил по-английски с лондонским акцентом, а к своей жене-англичанке обращался «миссис», с маленькой дочкой говорил языком, свойственным всем обожающим отцам.

Вернувшись в Россию после Февральской революции, Петерс оставил свою английскую жену и дочь в Англии. Он скучал по ним и по своему саду, в котором росли розы, однако, насколько я знаю, так и не возвратился, а впоследствии женился на русской.

За ничем не примечательной внешностью Петерса скрывались огромные способности и... жестокость. Он легко мог перехитрить офицеров белогвардейской разведки, а правила приличия и кодекс чести никогда не служили ему сдерживающим фактором. Петерсу доверяли важные поручения, с которыми тот всегда справлялся, но, несмотря на успешную деятельность, он хотел вырваться из Чека, и сделал это.

Были еще и другие эмигранты, с которыми я работал во Владивостоке в газете «Крестьянин и рабочий», особенно Еремей Лифшиц, которого родители отправили в Соединенные Штаты после погромов 1905–1906 годов, а также Лев Вакс, эмигрант из Америки и профессор английского языка, его жена, Елизавета Димцен.

Впрочем, петроградская группа эмигрантов, говоривших по-английски, состояла не только из одних большевиков. Группа была далеко не объединена в политическом смысле. В нее входили анархисты, например Агурский и Петровский, но ни один из них не был хорошо известен в рабочем движении на родине в том смысле, как Билл Шатов. (Билл и его жена Анна приехали из Нью-Йорка.) Петровский был членом Военно-революционного комитета, который осуществил захват власти. После возвращения из Америки он работал на Обуховском военном заводе и был членом заводского комитета. Худощавый, серьезный, без той дикой разнузданности, которая отмечала Билла Шатова, он произвел на Рида огромное впечатление. В группу также входил по крайней мере один интернационалист (левый) меньшевик Нагель. Еще там же был Алекс Гумберг, с которым я познакомился на следующий день после моего приезда. Он был первым эмигрантом, которого я представил Риду, а также Борис Рейнштейн, который провел несколько лет в Буффало, где была сосредоточена вся тяжелая промышленность штата Нью-Йорк.

Всегда интересно наблюдать примеры определенных аспектов американского образа.

В предвоенные годы в Америке росло здоровое социалистическое движение, и все, кто высаживался на наших берегах, казалось, имели к нему какое-либо отношение. Рейнштейн был типичным примером этого. Он хорошо знал Юджина Дебса, «Уоббли» и другие рабочие песни и, как другие, лично испытал на себе не только все беды аграрной и промышленной России, включая голод, но и капиталистической Америки, депрессии. Его двойственность по отношению к Америке также была типичной: он питал страсть к технике и при этом был потрясен, когда узнал, что в стране, где машины развили такие мощные производительные силы, так безалаберно разбазариваются ресурсы и люди. Как и другие, он рассматривал социализм как единственный способ вырвать человечество из кары духовной и физической нищеты, безработицы и расточительства.

В то время, когда я познакомился с ним, он был последователем Даниэла Де Леона, одного из первых популяризаторов марксизма и защитников широкого распространения индустрии в противовес профсоюзам мастеровых в Соединенных Штатах, вступившего в Социалистическую лейбористскую партию (СЛП), а потом, в 1890 году, в основном в германоязычную группу. Под руководством Де Леона эта группа выросла и стала немногим более чем секта, после того как партия раскололась. Рид обычно поддразнивал Рейнштейна из-за СЛП и спрашивал, сколько в ней членов – три с половиной или четыре. Однажды, когда Рейнштейна представили как вождя «мощной социалистической трудовой партии Америки», Рид покотился со смеху. Однако Рейнштейн знал Маркса и Энгельса и не позволял нам забывать, что знал больше, чем мы с Ридом. Де Леон мог похвастаться (что и делал), что Ленин проявлял к нему решительный интерес, в частности к его плану организации представительства в правительстве

избранников от промышленности, а не от регионов, и ответственных за рабочих, занятых в этой промышленности<sup>11</sup>.

Различия в партиях не были столь уж важны осенью 1917 года. Многие правые меньшевики и правые эсеры объединяли международные или левые фракции их партий, другие же, интернационалисты или левые группировки, присоединялись к большевикам. Рейнштейн стал большевиком, как и некоторые анархисты. Но не Алекс Гумберг, который выступал посредником между сотрудниками американского посольства и большевиками. Усердно сохраняя свой статус волка-одиночки, он пользовался доверием обеих сторон. Позже он возвратился в Америку, где сделался важной закулисной фигурой на Уоллстрит.

Шатов был учеником князя Петра Кропоткина, написанные образным языком книги которого он обожал раздавать, однако это не мешало ему оставаться воинствующим сторонником Ленина. С одной стороны, Билл был убежден, что анархизм старшего брата Ленина в какой-то степени затронул и самого Ленина, и невозможно было отговорить его от этого убеждения. Старший брат Ленина Александр (Саша) Ульянов в возрасте 21 года был вовлечен в заговор студентов, направленный на убийство царя Александра, и повешен. В то время Ленину было семнадцать лет.

С другой стороны, Шатов всегда стоял за побежденную сторону, в конце концов, большевики до недавних пор в самом деле были преследуемой, маленькой, ничтожной партией. Тем не менее, как позже объяснял Билл, он мог сохранять преданность им потому, что вскоре после Октябрьской революции международная ситуация сделала продолжение их деятельности проблематичным. (В 1919 году, после явления чуда – обеспечения движения поездов по дороге Москва – Петроград по расписанию, Шатов, в то время комендант Петрограда, сказал Рэнсому, что в ту минуту, когда другие народы прекратят на них нападать, он будет первым, кто свергнет большевиков<sup>12</sup>.)

Для Джона Рида и меня анархисты были более знакомым типом, чем кто-либо другой на российской политической сцене, так как они некоторым образом напоминали наших профсоюзных деятелей, членов организации «Индустриальные рабочие мира» (ИРМ). И не только

---

<sup>11</sup> Де Леон (1852–1914) родился в Чикаго, учился в Германии, в Амстердаме и в Нью-Йорке, читал лекции по латиноамериканской дипломатии в течение шести лет в университете Колумбии. Вышел в отставку в 1878 году, в 1890 вступил в Социалистическую лейбористскую партию и обрел силу в ней благодаря тому, что в течение нескольких лет редактировал орган партии «Народ», начиная с 1892 года. Его оппонентам не удалось сместить его, несмотря на их нападки как на «диктатора» и «доктринера». Они образовали отдельную партию, которая стала Социалистической партией Америки. Де Леон был одним из основателей «Индустриальных рабочих мира» в 1905 году в Чикаго, однако через три года на съезде ИРМ ему было отказано в должности.

<sup>12</sup> В конце 1920-х годов Шатов был назначен советским правительством ответственным за строительство железной дороги Турксиб, это была важная линия, соединяющая Туркестан и Сибирь. Между его урочной работой в качестве банкира и железнодорожного строителя Шатов с несколькими сотнями других американцев, в том числе инженеров, ученых и организаторов, получил назначение на одно из наиболее дорогих для Ленина предприятий – ему предстояло оживить заводы и шахты Кузнецкого угольного бассейна. См. «Нью-Йорк таймс» от 1 ноября 1967 года, с. 26. «Американцы играют роль на раннем этапе экономического развития Советского Союза». Еще раз Шатов был связан с этим, когда находился в США с Вильямом Хэйвудом (Большой Билл), который поехал в Россию, чтобы избежать 24-летнего заключения, к которому его приговорили как лидера ИРМ в 1918 году (все из 101 подзащитного были признаны виновными). Многие американцы, принимавшие участие в советском предприятии, известном под названием Автономная индустриальная колония, в Кузбассе, в Сибири, и находящиеся там на протяжении 1921–1927 годов, были членами профсоюзной организации «Индустриальные рабочие мира». Хэйвуд был депутатом колонии, где лидером был С. Рутжерс, голландско-американский коммунист. Шатов представлял советское правительство в колонии, после того как работа завершилась. Соглашение, передающее американцам металлургический и сталелитейный завод в Надеждинске, ныне Серов, на севере Урала, было подписано Лениным. Проект колонии был задуман как большая и мощная промышленная империя, в которой люди с разными интернациональными симпатиями и убеждениями и с опытом профсоюзной работы на современных западных предприятиях могли бы обучать русских рабочих, с тем чтобы бездействующие заводы заработали вновь. Советы, стремясь соблазнить искушенных экспертов с американским ноу-хау, бросали их на такие предприятия, как угольные шахты в Кемерово, кирпичные заводы в Томске, кожевенные и обувные фабрики, химические заводы и деревообрабатывающие комбинаты. В тот период они предлагали землю, в обмен на модель механизированной фермы. Она позиционировалась Гарольдом Вейром, еще одним американцем и сыном Эллы Рив Блур (матушки Блур), ветерана рабочих организаций и коммунистки.



потому, что мы оба знали Большого Билла Хэйвуда; Рид видел мать Джонс в работе во время забастовки шахтеров в Людлоу, а я знал Элизабет Герли Флин по забастовке текстильных рабочих в Лоуренсе.

Мы также знали менее известных профсоюзных деятелей, например Георгия Андрейчина, который был одним из тех 101, кто попал под суд в Чикаго в 1918 году. Я упомянул об Андрейчине потому, что мы с Ридом хорошо знали его, и потому, что он сумел пробраться в Россию, а позже, во время Второй мировой войны, стал высокопоставленным чиновником в партии и правительстве Болгарии, откуда он был родом. Для парней из ИРМ – Андрейчина, Лифшица, позже Хэйвуда – революция была историческим подтверждением их знаменитой фразы: «новое правительство вырастает в скорлупе старого».

Другой русско-американский эмигрант, который сумел, не примыкая ни к какой группировке, быть со всеми накоротке, прибыл в Россию за день до Октябрьской революции. Это был Чарльз Кунц, интеллектуал и владелец птицефермы в Нью-Джерси.

Я сказал, что всем русским американцам пришелся по душе Рид. Однако было одно исключение: Алекс Гумберг. Рид и Гумберг так и не смогли поладить друг с другом. По мере того как шло время, между ними усугублялись враждебные отношения. Со всеми остальными Рид сошелся очень быстро. Друзья сейчас яростно работали, и у них оставалось очень мало времени на старую любовь – игру в шахматы. Однако мы поддерживали с ними отношения и ездили на старом пыхтевшем паровом трамвайчике, чтобы попасть на митинги на фабриках Выборгской стороны и в бараках. Иногда у них хватало времени на то, чтобы пожевать сало вместе с нами, в ожидании, когда начнется митинг.

Единственное, что объединяло их всех и даже Гумберга, – был Ленин. Когда я только узнал их, мне показалось, что для них Ленин – вне критики. Но теперь, по мере того как Октябрь приближался, среди них разгоралась внутренняя борьба, и часто то один, то другой казались напряженными, торопливыми, сбитыми с толку и слишком занятыми, чтобы остановиться ради долгих неторопливых бесед, которые я привык от них ждать. К счастью, к этому времени я научился немного лучше понимать по-русски и уж не так зависел от них. Их уроки возымели свое действие. Рид был еще более прилежным учеником. Хотя еще не пришло время, когда он начал упрекать меня за то, что я – не марксист.

Через неделю после приезда Рида он дал в письме следующую оценку политической ситуации в России: «Эта революция сейчас перешла в чистую и простую классовую борьбу, как предсказывали марксисты. Так называемые буржуазные либералы Родзянко, Львов, Милюков и другие определенно объединились с капиталистическими элементами. Интеллектуалы и романтические революционеры, кроме Горького, потрясены тем, чем на самом деле оказалась революция, и либо перешли к кадетам, либо вообще бросили это дело. Старорежимные деятели – большинство из них, вроде Кропоткина, Брешковской и даже Аладина, – полностью потеряли симпатию к нынешнему движению; по-настоящему их заботит только политическая революция, и политическая революция произошла, Россия стала республикой, и я думаю – навсегда. Но то, что сейчас происходит, – это экономическая революция, которую они не понимают или не придают ей значения. Через бурю событий, обрушившихся на всех тех, кто бьется сейчас в России, звезда большевиков упорно поднимается вверх».

Рид слишком упростил ситуацию с интеллектуалами и «романтическими революционерами», многие из которых перешли к большевикам, и в то же время он оказался не совсем прав насчет Максима Горького. Горький и его газета «Новая жизнь», издаваемая Н.Н. Сухановым, были настроены против большевиков, хотя они находились в оппозиции и к сторонникам компромисса, меньшевикам и эсерам. Позже Горького завоевали Ленин, Луначарский и другие. Однако пронизательность Джона, проявленная всего через неделю после приезда в Россию, показывает, как он умел схватывать все самое главное.

Откровенно говоря, и в Риде, и во мне было немало романтики и страсти к приключениям. Было бы неверно рисовать каждого из нас в сентябре 1917 года как человека, глубоко понимавшего марксизм или преданного пролетариату до такой степени самоотречения или ясновидения, как другие русско-американские большевики. То, что Рид был немногим более романтик, чем я, не помешало ему стать коммунистом, чего не сделал я; и это, быть может, даже ускорило процесс.

В сентябре 1917 года, когда Риду было без малого тридцать, его склонность к драмам и плутовству расцвела полностью. Но это был Рид на поверхности, которого видели многие. Ни один из русских буржуазных типов или сотрудников американского посольства – хотя были и исключения – не мог до конца поверить, что Рид или я всерьез сочувствовали революции. Русские *bons vivans*<sup>13</sup>, которым нас представил Гумберг, полагали, что мы – на стороне режима Керенского, но только потому, что большевики будут еще хуже и, по крайней мере, мистер Керенский пытается удержать Россию в войне. Риду нравилось наблюдать фарс таких столкновений. К сожалению для благородных господ, спокойно говорил он, большевики победят потому, что только у них одна программа, основанная на нуждах народа. На это наш хозяин или хозяйка мудро улыбались, словно говоря: «О, я знаю вас, газетных корреспондентов, вам нужно раздобыть материал для заметок». Для них было непостижимо, что мы не симулировали симпатию к большевикам, чтобы раздобыть новости.

Вполне вероятно, что то же самое происходило и с большевиками. Замечательно, что они принимали нас, доверяли нам, терпеливо объясняли или яростно спорили... Только один Гумберг изводил нас, но он подтрунивал и над большевиками, а его насмешливый скептицизм по этому поводу не распространялся на его работодателей из посольства. Даже когда он и Рэймонд Робинс проявляли растущее уважение друг к другу и Гумберг оказывал ему неоценимую помощь, Алекс не мог удержаться, чтобы время от времени не подшутить над ним.

Сотрудники американского посольства в целом либо считали, что мы с Ридом – невинные детки с широко распахнутыми глазами (позже нас называли «большевистскими простофилями»), и списывали это на наше молодое рвение, либо, особенно по прошествии времени, полагали нас опасными типами, за которыми нужно шпионить. Едва ли наша деятельность была тайной. Наши речи освещались в прессе и были доступны общественности, или, по крайней мере, то, что добавляли наши переводчики, а также как их передавали русские, нанятые посольством в качестве агентов.

Новости и заметки, которые мы писали после революции 25 октября/7 ноября, были чем угодно, только не материалами заговорщиков. Мы были официально наняты Иностранной службой бюро советской пропаганды, работали под началом Рейнштейна, а его боссом был Троцкий, и вели пропаганду среди австрийских и немецких солдат с тем, чтобы они бросили оружие и восстали против своего кайзера и императора, как это сделали русские, восставшие против своего царя. Эти листовки сбрасывались в немецкие окопы с аэропланов, хотя в то время самолетов было немного, или во время «братания» перед договором, заключенным в Брест-Литовске, который был передан русскими солдатами через колючую проволоку германцам, которые противостояли им на разваливающемся фронте. Они также отправлялись германским, австрийским и прочим военнопленным.

Ни один из русских американцев не был похож на другого. Каждый был особой личностью. Даже среди большевиков были не только различия, но и разногласия по тактике, интерпретации Маркса или Энгельса. Меня не слишком интересовали эти теоретические вопросы.

– Это интересно, – как-то раз сказал я Риду, – что у них, похоже, нет никаких различий в интерпретации слов Ленина. Похоже, он никогда не оставляет сомнений в том, что хотел сказать.

---

<sup>13</sup> Любители удовольствий (*фр.*).

– А разве те, кого мы знаем, вообще отличаются от него? – спросил Рид.

Придет время, когда кто-то будет возражать Ленину, а кто-то не будет: время Брест-Литовского мира. Некоторые историки указывали, что в этом вопросе Володарский колебался. Однако я знал его, но никогда не видел этого. Вместе с большевистскими вождями третьей волны они были едины в этом вопросе. И вовсе не потому, что слово Ленина для них было законом. Такого рода отношение определенно не было частью революции, как я понимал ее.

Я не могу сказать, что те большевики, которых я знал, почитали Ленина; почтение приходит только к покойным вождям или распространяется на личности вождей, далеко оторванных от народа. Ленин отсутствовал лишь формально; его присутствие было весьма ошутимо. Я утверждаю, что Ленин и *был* для них революцией. В целом они доверяли ему, его широким и подробным знаниям марксистской теории, его гению тактика, прекрасно понимающего момент, когда народ был готов захватить власть и возглавить борьбу.

Они ценили и Льва Троцкого, прибывшего из Америки и признавшего в Ленине единственного человека действия, который способен взять в свои руки революцию во время ее наивысшей точки и направить в правильное русло. Джон Рид восхищался Троцким, особенно когда в первый раз услышал его речь и оценил ее динамичные качества. На самом деле никто в Петрограде в эти тревожные сентябрьские дни не мог не понимать, что Троцкий был сильной личностью; он поддерживал позицию Ленина и считал, что время вооруженного восстания уже недалеко. Однако лично Троцкий не внушал никаких теплых чувств. Это был довольно холодный и сложный человек, в котором собственное «я» являлось существенной доминантой. Прошло не так много времени до того, как я обнаружил, до какой степени простиралось его «я».

А Ленина они любили. Это было так просто. Когда речь заходила о Ленине, даже угрюмый Гумберг воздерживался от своей неизменной привычки у всех искать ахиллесову пяту и праздновать свое открытие колкими, саркастическими остротами. Я могу добавить, что Ленин был единственным человеком по другую сторону Атлантики среди сотен, кто в конце концов понял Гумберга, и после войны его включили в число многих великих американцев.

По этой причине лидеры второй и третьей волны, которых я описываю, в отличие от ведущих большевиков, были ближе к точке зрения Ленина. В отличие от Каменева, Зиновьева, Бухарина и других в высших эшелонах они проводили время среди народных масс. И в сентябре, как заметил Суханов, «массы жили и дышали вместе с большевиками. Они были в руках партии Ленина и Троцкого». Мои друзья знали, что Ленин правильно рассчитывал революционный настрой рабочих.

Я вспоминаю, как однажды вечером мы с Ридом и Рейнштейном поехали на Выборгскую сторону послушать речь Володарского. На Рида он произвел громадное впечатление, как и на меня, когда я впервые услышал его. Наверное, это было во второй половине сентября, до того, как Рейнштейн уехал на Северный фронт под Ригой.

Рид хотел узнать, напоминает ли Володарский как оратор Ленина. Нет, сказал Рейнштейн, Ленин никогда не возбуждает эмоции. Он рассчитывает на то, чего очень хотят рабочие и крестьяне: конец войне, конец вялого режима Керенского, который не знал ничего, кроме компромиссов. Да, вся власть Советам, т. е. власть должна быть передана в руки рабочих. Хлеб, мир, земля, которую они так и не получили за шесть месяцев революции. Задача состояла в том, чтобы заставить их думать. Рейнштейн имел возможность как-то послушать, как Ленин обращался к толпе, как бы нарочно с балкона третьего этажа особняка знаменитой балерины Кшесинской, в то время как он, весь разубранный красными бантами, был занят большевиками, превратившими дом в свой штаб, прежде чем они переместились в Смольный. Рейнштейн описал, как неоднократно рабочие замирали молча, погруженные в свои мысли, забывая аплодировать. Но затем, когда Ленин исчез, войдя внутрь, раздался тихий рев толпы.

Володарский не Ленин; никто из них не был им. Однако он был подобен пламени. Я слышал его несколько раз, в доках и на заводах. Для того чтобы быть агитатором, человек

должен возбудиться сам; у Володарского было такое качество. Его ненависть к классовому врагу, может, была не больше, чем у других, но точка кипения была низкой. Мне, как и другим русским американцам, казалось, что у него в крови кипит мщение. Теперь он, наконец, мог нанести удар, о котором так долго мечтал, для него каждый миг революции был упоительным. Я не в первый раз пишу об этом; но все же признание, которое мне сделал Володарский несколько месяцев спустя, незадолго перед тем, как я покинул Россию, было показательным. Почти застенчиво, но с силой, которая иногда оживляла его лицо, он сказал: «За эти десять месяцев я получил больше радости, чем иной человек может испытать за всю жизнь».

Я предполагаю, что все русско-американские большевики были фанатиками, их вела страстная вера в способность человека представить свое будущее и решимость воплотить его, даже рискуя собой. Каждый из них работал за десятерых, пренебрегая сном и едой. Подобную энергию я видел во время забастовок в Америке и в избирательной кампании Дебса. Здесь была та же активность, перекрывающая пределы возможного, какую я наблюдал на родине, в моменты кризисов или даже более того. В одном из первых актов во время мятежа Корнилова Военно-революционный комитет сократил хлебный рацион в столице до половины фунта на продуктовую карточку, и, как я вспоминаю, это ударило по рабочим. Но энергия большевиков не ослабела.

Не потому, что эти русские американцы были роботами или лишенными чувства юмора типами, какими часто описывают в западной литературе профессиональных революционеров. Истина в том, что за единственным исключением – Троцким, – которого я знал как человека, напрочь лишенного чувства юмора, все русские и американские большевики были очень живыми людьми и любили посмеяться. Они приветствовали оживленность Рида, его любовь к жизни, его веселые проделки, его карикатуры на посла Фрэнсиса, который разливал свой марочный ликер корреспондентам, или на Керенского, обращавшегося к войскам на фронте, или на Родзянко, громадного, рыхлого мужчину, напоминавшего крепостника Собакевича из «Мертвых душ» Гоголя. Нам с Нагелем довелось брать интервью у Родзянко.

Он был весьма выразительным и без карикатур Рида, особого внимания с его стороны удостоился Нагель, который, по нашему мнению, меньше всех походил на большевика и был одет гораздо лучше, чем наши другие русско-американские друзья.

– Вы большевик? – спросил у него Родзянко, а когда Нагель ответил: «Нет», сказав, что он – интернациональный меньшевик, Родзянко свободно высказался по поводу большевиков: – Эти люди облизываются при мысли о крови, – и заявил: – Нам ничего не остается делать, кроме как ждать неизбежной революции.

Когда же я спросил его, почему средний класс не предлагает никакой программы в противовес социалистам, программы, которая бы дала крестьянским массам шанс получить землю, он ответил уклончиво и с невинным видом:

– Массы в целом глубоко не доверяют буржуазии. При старом режиме мы занимали бюрократические должности и посты, теперь нам приходится преодолевать это наследство.

Социалисты говорят: «Мы предлагаем отобрать пиджак, жилет и брюки у господина Родзянко. И таким образом господин Родзянко поставлен в жалкое положение – ему придется собирать партию, которая говорит: «Я предлагаю отдать бедным рабочим и крестьянам свой пиджак». Но между партией, которая предлагает пиджак, брюки и жилет господина Родзянко, и партией, которая предлагает один пиджак, люди предпочтут первую, где им дадут пиджак, жилет и брюки господина Родзянко.

За исключением Янышева и Гумберга, который был сыном раввина, все русские американцы, большевики и меньшевики, были выходцами из семей крестьян или ремесленников. Что касается большевиков, то ссылки, тюрьмы и каторга были их университетами; а их работа в городах – от Баку до Сингапура, на полях подсолнечника в Оклахоме и сталелитейных заводах

в Огайо – была их средней школой. Среди них пролегла объединяющая нить общего сознания, выражаемого в действиях.

Как только Петерс был назначен в ЧК, мы с Джоном стали размышлять над тем, сохранит ли он в себе ту мягкость, которую разглядела в нем Бесси Битти, и будет ли он по-прежнему заботиться о людях. Джона уже не было в живых, когда я снова увидел Петерса после революции. Характерно, что Петерс настаивал на том, чтобы Люсита Сквайр, моя жена, и я пришли бы с визитом к нему домой. Он проводил нас в одну большую комнату, где, сияя от гордости, познакомил нас с семьей, которую обрел в России, – с женой и маленьким сыном. Самовар кипел, мы говорили о прежних временах, о Риде, о прошлом и будущем. Петерса очень интересовало, что думает Люсита о русском театре, об оригинальном творчестве Всеволода Мейерхольда, Таирова из Камерного театра и о режиссерах Пудовкине и Эйзенштейне. Разумеется, мы говорили о Ленине. Это был 1923 год, и я попросил у Петерса совета: стоит ли мне попытаться увидеть его и будет правильно злоупотреблять его силами сейчас, когда он может принимать так мало посетителей? Или мне все же позволят увидеть его? Петерс оценил мои сомнения, но сам ничего не сказал.

ЧК была упразднена за год до нашей встречи, но лишь для того, чтобы возникло ГПУ. Когда я откровенно сказал Петерсу, что никогда не мог представить себе, каким великим сыщиком он станет, Петерс ответил мне с такой же откровенностью. Он резко осудил приемы ЧК. Он рассказал, что ему стало известно о подпольной контрреволюционной группе, которая действовала между Москвой и Нижним Новгородом и заслала двух чекистов в Нижний Новгород с поддельными паспортами, якобы санкционированными московской группой. Они прибыли как раз ко времени решающего собрания, якобы чтобы сообщить о том, как продвигается заговор в Москве. Убедив председателя заслушать их рапорт в конце собрания, они тихонько уселись возле двери и начали слушать. В какой-то момент один из двадцати царских офицеров, который входил в группу, их заподозрил, о чем шепнул председателю, однако тот разубедил его, и собрание продолжилось. С другой стороны, из-за гордого нрава некоторые высшие чины не прибыли, и офицер вышел, чтобы установить, почему они не приехали. И когда прошло много времени, а он не вернулся, председатель резко потребовал, чтобы чекисты сделали сообщение.

Чекисты полезли в кожаные портфели, стоявшие у их ног, чтобы якобы взять листки, а сами выхватили револьверы.

– Вот наш рапорт! – И по этому сигналу ворвались несколько местных чекистов. Они уже арестовали опоздавших на собрание участников, вместе с тем офицером, что отправился на их поиски.

Еще раньше Петерс приказал разъединить некоторые телефоны, и все поезда, направлявшиеся в Москву, были остановлены на случай провала чекистов, чтобы не допустить в Москву поднятых по тревоге московских конспираторов, прежде чем они соберутся вновь.

– Но как же вы вышли на их след? – спросил я.

– Все зависело от слов одной девушки. Мы решили довериться ей. Она пришла ко мне и рассказала свою историю. Она любила одного офицера, но в конце концов революционный долг оказался сильнее и она решила предать его. Когда он напился, то начал хвастать о грядущих новых временах: «Будут перемены. И тогда я не буду таким бедным, как сейчас».

«Но у тебя и сейчас есть деньги», – сказала девушка.

«Да, но не столько, сколько будет».

Затем он на некоторое время уехал, не предупредив ее. Мы стали следить за этим человеком. Вот и вся история, кроме того, что в Нижнем мы нашли печати, штампы, спрятанные припасы. Ах да. Один из офицеров, которого мы схватили, был латышским генералом.

«Вы меня не знаете?» – спросил я, когда его привели ко мне. Он сказал: «Нет, не имел такой чести».

«Наверное, вы помните Рижский фронт и то время, когда артиллеристам было приказано выступить против латышского полка, который отказался подчиниться вашему приказу об отступлении?»

Генерал сквозь зубы произнес: «Да».

«Один латыш должен помогать другому», – сказал я. И через него мы произвели пятьсот арестов.

Восков был моложе Петерса, и он провел десять лет в Соединенных Штатах. Ему было двадцать восемь лет, когда я познакомился с ним. Это была парадоксальная личность. У него был какой-то извращенный, черный юмор, но, как ни странно, это придавало ему добродушный, довольно веселый вид. По всем правилам логики он должен был быть некомпанейским малым; на самом же деле невозможно было бы найти человека с более дружелюбным отношением к людям.

Во время поездки по провинциям прошлым летом, когда он умудрился раздобыть машину, я осторожно пожаловался на безобразные дороги. Он поглядел на небо и сказал, что из-за грозы дорога стала бы гораздо хуже и что такой хмурый день, как этот, наверняка завершится грозой. Гроза так и не началась, однако двигатель заглох. Похоже, это страшно его развеселило. Он с жаром бросился починять его, и наконец мы снова затряслись по дороге. Затем мы завязли в грязи на дне небольшого ручья. Я с ворчанием выбрался из машины и рывком попытался поднять задние колеса, но тогда завязли передние. Восков выскользнул из машины, побродил по берегу и вернулся с дубиной, похожей на половину дерева, сотворил какое-то чудо и затем, напевая русскую народную песню, выволок машину из ручья.

– По-русски так говорят, – сказал он, в ответ на мое явное раздражение. – Ну-ка, птичка, возьми записку и лети к моему любимому.

Казалось, он считал, что, как бы ни были плохи дела, они могли быть еще хуже, и, наверное, так оно и было. А когда становилось хуже, он превращался в само солнце. Как все другие большевики, Восков прошел школу, которая оставила у него очень мало иллюзий. Я подозреваю, что он культивировал свой пессимизм в качестве брони против неминуемых разочарований.

В одном из моих первых воспоминаний о нем в Петрограде, во времена, когда даже оптимист решил бы, что Советы выживут только благодаря чуду, Восков сказал со своей невозмутимой улыбкой:

– Мы должны работать, пока можем, потому что мы, может, скоро будем раскачиваться на фонарных столбах.

Это правда, так как у каждого большевика был такой шанс, если бы поддерживаемая интервенцией контрреволюция преуспела. Это понимание, похоже, заставляло Воскова начинать каждый день с новым радостным настроением. Еще один день, и он не пошел на дно, еще один день для борьбы.

И теперь в сентябре он казался неутомимым, работал день и ночь, но, поскольку дела шли хорошо, большевики каждый день побеждали, обрывки песен, улыбки стали появляться реже. Нужны были исключительные события, чтобы показать настоящую доброту природы Воскова. Может, это оттого, что он знал так много, что эти промежуточные события казались ему какими-то нереальными. Он сидел в тюрьмах во многих городах. Например, в Константинополе. Его пытали, а он закусывал губы так, что текла кровь. Я спросил его, как он выдерживал побои и пытки. Он обстоятельно ответил:

– Видите ли, первый удар парализует нервы так, что они не реагируют на последующие удары.

Восков мог быть мрачным, с наслаждением предвкушая завтрашний день, однако он был спокоен сегодня и равнодушен к вчерашнему дню. Что же насчет послезавтра, то он был уверен, что его двоим детям жить будет легче, но не более того.

– Нам многое предстоит делать сейчас, чтобы размышлять о прошлом и кичиться будущим, – говорил он.

Несмотря на веселый нрав и юмор, Восков жил по кодексу суровой морали, этот кодекс распространялся не только на него, но и на Воскову, его милую, сильную, много работавшую жену (которая в более поздние годы помогала мне собирать материал в деревнях), а также их детей. Я представляю его в форме бойца Красной армии, как он прощался с Восковой ранней весной 1918 года. Та бодрилась и молча, с сухими глазами прижималась к нему, а он просто сказал:

– Если я умру, пусть наши дети знают, что их отец ждал, что они продолжают борьбу.

Он понимал, что эту битву нелегко будет выиграть и что будущее поколение также должно быть революционерами. Восков был одним из молодых активных большевиков, которых Ленин бросал на самые трудные участки, в то время как белая контрреволюция собиралась с силами. Я уверен, что Ленину было нелегко разбрасываться такими бесстрашными, трезвыми и умными молодыми людьми, цветом революции. Но у него не было выбора; если бы он осторожничал и берег этих творчески мыслящих и одаренных лидеров народных масс, то непобедимый, на первый взгляд, марш Деникина, Колчака и других невозможно было бы повернуть вспять<sup>14</sup>.

Этого Воскова уважал и любил Рэймонд Робинс, с которым я познакомился после Октябрьской революции. Робинс, тогда глава американского Красного Креста в России, направил послу Фрэнсису 4 апреля 1918 года телеграмму в Вологду, в которой излагалось, что в только что полученном из Петрограда сообщении, заслуживающем доверия, говорится, что Советская власть установила эффективный контроль за распределением предметов первой необходимости. Командир Красной гвардии Восков, мой личный друг, бесстрашный и находчивый человек. Он уехал в Финляндию, руководил тремя атаками на Белую гвардию, за время которых пятеро командиров из его личного состава погибли. Но до тех пор, пока он командует Петроградской Красной гвардией, я полностью удовлетворен сложившейся там ситуацией.

Одно время после Октября Восков служил комиссаром по продовольствию в Северном регионе. В моих записках того периода, хотя я специально не ставил на них даты, записано: «Такие, как он (Восков), не принесут домой ни кусочка хлеба, хотя он видит, как его дети страдают от голода. Дети получают  $\frac{1}{8}$  фунта хлеба, половина которого сделана из скорлупы семян подсолнуха. У них пухнут животы и даже нет сил, чтобы играть<sup>15</sup>».

Как-то вечером Рид, Восков и я стояли на парапете моста и смотрели вниз, на Неву, которая быстро несла свои воды. Я сказал, что это напоминает вид с моста Вордсворта в Лондоне. На расстоянии виднелись шпиль Адмиралтейства, дворцы и фантастические луковичные купола церквей. Сквозь туман до нас доносилась музыка.

– Вы это слышите? – спросил Рид.

– Да, слышу, – скрипучим голосом ответил Восков, прогнав прочь наш поэтический настрой. – Но я также слышу стоны массы рабов, которые строили этот город.

Восков был на каком-то дневном заседании фракции, когда мы встретились с ним в Смольном и настояли, чтобы он пошел с нами на чай и борщ. Мы поднялись в мою комнату в гостинице «Астория». Восков был явно изнурен, он работал так много и с полной отдачей сил, что от его обычного добродушия не осталось и следа.

---

<sup>14</sup> Генерал Деникин продвигался с юга, адмирал Колчак – с запада.

<sup>15</sup> В то время дети Воскова, по-моему, были в детском доме, так же как дети других активных революционеров, сражавшихся в тот момент с контр-революцией.

Рид сказал Воскову, что днем раньше он беседовал с рабочим, который откровенно сказал:

– Через неделю мы выйдем на улицы.

Восков не поддался на провокацию. Он слабо улыбнулся и спросил:

– А кто ваш переводчик? Альберт Давидович? (Альберт Давидович – это способ русских соединять мое имя, данное при рождении, с именем отца, которого звали Дэвид Томас Вильямс.)

А затем деловым тоном сказал:

– На самом деле ситуация никак не переменялась. Я хочу сказать, никто еще не распознал, что произошли объективные перемены в условиях, которые вы почувствовали, как журналисты.

– Кто не распознал? Вы же не хотите сказать, что Ленин не... – воинственно заговорил Рид.

Восков устало отмахнулся от очевидного.

– Разумеется, это не Ленин: он всегда чувствует настроение народных масс. Об этом даже говорить нечего. Он в подполье, отрезан от нас, жалуется, что ему о многом не рассказывают. Но *он* знает и условия, и субъективные настроения народа. Нет, это другие, которые от народа не дальше, чем водитель трамвая, который ничего не понимает.

Встав, чтобы уйти, Восков хриплым голосом, с оттенком своего привычного веселого пессимизма сказал:

– Мы пытаемся оседлать вихрь. Но нас так мало – горстка. Я часто слышу наши писклявые голоса в урагане. – Он улыбнулся, пожал плечами и добавил: – А вы знаете, что ураган остановить нельзя.

– Тогда ревите вместе с ним, товарищ! – закричал Рид и хлопнул его по плечу. Но затем добавил: – А что случится, если большевики не оседлают циклон? Другими словами, если организация большевиков решит на этот раз не устраивать восстания?

Каким бы уставшим ни был Восков, у него вспыхнули глаза, и, держа руку на ручке двери, он обернулся и посмотрел на нас.

– Люди в любом случае выйдут на улицы. Так же, как они сделали в июле, без нас. В июле, когда мы пытались контролировать демонстрации, было слишком поздно. И тогда была лишь кровавая баня и репрессии. Но никакого восстания тогда не было, даже если бы мы его возглавили и установили контроль, оно все равно было обречено. А сегодня все по-другому.

Сегодня у нас есть организации. У нас большинство в Советах. Фабрики полностью в наших руках. У нас большая часть армии, наверняка петроградский гарнизон. У нас флот. И провинции выступают на нашей стороне. Большинство крестьян поддержат рабочих, как только те выступят. Альберт Давидович может вам рассказать о крестьянах.

Одно верно – когда массы приходят в движение, наше место с ними. Мы не можем предусмотреть всего, но самое худшее, что может быть, – это деморализация народа из-за бездействия. Громадность всего этого временами ошеломляет. И меня тоже. Но Маркс пишет в статье «Восемнадцатое брюмера» [Луи Бонапарта], что пролетарские революции отличаются от буржуазных революций тем, что они «всегда самокритичны» и даже «снова и снова они отходят назад, в ужасе от громадности собственных целей». Так что, мои дорогие американские товарищи, не будьте нетерпеливыми и правильно поймите нас.

На нас с Ридом подействовал его приход, и мы размышляли над тем, как он должен справиться с циклоном. Волков прекрасно понимал, что стихийные силы вырвутся наружу.

Но вне зависимости от того, что у него и других были в тот момент сомнения, они не выказывали их. Они действовали в согласии, без усталости работали и говорили. Долгие промежутки времени они проводили почти без сна; казалось, они лишены нервов и словно могли сами определять события. Однако на самом деле они были готовы направиться туда, где раз-



дувался сильный ветер, чтобы сдерживать ситуацию любой ценой. И менее всего они переживали за собственную жизнь.

Эта горстка коммунистов, которых я знал, вернулись из ссылки после Февральской революции, они были объединены общим опытом и верили в обновленного революцией человека. Все они, даже анархисты, которых я знал, – и даже в то время Нагель, насколько мне известно, – имели общую конечную цель – конец эксплуатации человека человеком, конец общества, в котором негуманные процессы капиталистического производства отчуждали человека от работы, друг от друга и от самого себя; и создание общества, в котором исчезнут классы и человек сможет работать не для того, чтобы есть, поддерживать себя и обогащать маленький высший класс, но работать творчески. Их также объединяло убеждение в величии Ленина.

Среди множества этих людей один Нагель был жестким догматиком. Когда стала подавляться буржуазная пресса, это забеспокоило большинство из нас. Петерс сказал, что, по его мнению, это было ошибкой, даже как временная мера. Нам с Ридом это не понравилось, а Рейнштейн очень тревожился из-за этого. Мы обсуждали все за и против подавления. Но не Нагель. Он не был открыт ни для какой дискуссии; он считал, что это будет проявлением нелояльности, если ставить под вопрос правильность подавления печати. Похоже, он был больше большевиком, чем сами большевики.

В то время это для нас ничего не значило. В 1917–1918 годах терпимость даже нетерпимых была правилом. Этому задавал тон сам Ленин. Например, он говорил о Николае Бухарине, блистательном теоретике: «С этим человеком я никогда не соглашусь. Он слишком радикален». Да, Бухарин переигрывает Ленина, как-то раз мы согласились с Ридом, однако Ленин продолжает работать с ним.

До нас так и не дошло, что Нагель мог играть какую-то роль во время революции, и я вовсе не уверен, что он этого не делал. Вероятно, он делал это автоматически, но даже в этом случае человек не обязательно должен быть пустым, а позже стать предателем. Как бы то ни было, он исчез. В 1925 году я попытался разузнать, что с ним стало. Люсита Сквайр посетила его русскую жену, милую девушку, которая бедно жила в Москве со своим новорожденным ребенком, и выразила сожаление по поводу ее участи. Я расспрашивал о нем, но ничего не узнал и выбрал еще один способ выяснить хоть что-нибудь о Нагеле. Ведь если его задержало ГПУ, я смог бы разобраться в этом.

Я весело вошел в здание, упоминавшееся во множестве рассказов того времени под названием «страшная тюрьма Лубянка». Я кратко изложил свою миссию. Я хотел бы разузнать о своем друге, который пропал. Меня пригласили войти в комнату. Это была просторная комната с массивным столом, несколькими стульями, и больше там ничего не было. Я смотрел в окно, когда распахнулись двери и вошли три человека. Они указали мне на стул, предложили сесть на тот, который стоял на свету из большого окна. Они уселись вместе по другую сторону напротив меня. Один вытащил какие-то бумаги. Другой изучал документы, лежавшие перед ним. Третий, сидя спиной к свету, смотрел на меня, не сводя с моего лица пронзительных черных глаз. Это был потрясающе красивый человек, которого я только видел.

Я быстро заговорил, рассказывая им о своем друге Нагеле. Я почувствовал, что должен рассказывать о нем побольше хорошего, поэтому на самом деле преувеличил нашу дружбу. Я прошел вместе с ним через революцию, он был меньшевиком-интернационалистом, о котором все мы хорошо думали. Тот факт, что большинства наших товарищей тех дней, которые могли бы замолвить за него слово, уже нет, заставил меня почувствовать, что это должен сделать я.

Затем мужчина с пронзительными глазами, самый молодой из всех троих, начал тихо допрашивать меня. Когда я в последний раз видел Нагеля? Где? Как часто с 1918 года? По мере того как он продолжал задавать вопросы, я чувствовал себя довольным, мне немного льстило, что им так много известно обо мне. И только когда он взглянул на страницу записей, которые изучал его помощник, и задал мне несколько личных вопросов, которые не имели никакого

отношения к Нагелю, я вдруг понял, что они изучают мое собственное досье и что я, а не Нагель, являюсь объектом их допроса.

– Ваш друг, – сказал мой инквизитор с обезоруживающей улыбкой, от которой я похолодел, – был вовсе не тем, кем вы его себе представляли. Он был международным шпионом. – Я отметил, что он употребил прошедшее время. – Мы советуем вам быть более сдержанным в будущем. На вашем месте я больше не стал бы беспокоиться о *Нагеле*.

Это был один из самых неприятных моментов в моей жизни.

Я отправился к Петерсу.

– Все, что вы могли сделать для него, вы уже сделали, – сказал он мне.

Я промолчал. А потом спросил:

– Что вы с ним сделали?

– Расстреляли его.

Однако, несмотря на всю силу Петерса, он показал, насколько был беспомощным, когда речь зашла о его собственном ребенке. Его бывшая жена-англичанка, которая поехала за ним в Россию, поместила их дочь в школу Айседоры Дункан. Петерс, увидев, как она порхает в танце, как безвкусно одетая, кричащая бабочка, возражал против этого. Однако мать руководила ребенком. Танец продолжился, со всеми этими крылышками из газа и прочим. Человек, который мог подписывать смертный приговор, не сумел остановить танец или как-то помешать влиянию, которое его бывшая жена оказывала на ребенка.

Однажды золотой осенью 1917 года мы с Джоном Ридом сцепились в ужасном споре – насчет чего, я не припомню.

– Гуманитарий! Витааете в облаках! – кричал он на меня.

– Гарвардский красный! Футбольный фанатик! – вопил я в ответ.

Бесси Битти взяла нас обоих за руки и сказала с намеренным презрением:

– Вы оба ведете себя как мальчишки. Называете себя радикалами? Вы просто парочка избалованных американских щенков. Почему бы вам не научиться дисциплине у русско-американских большевиков?

Так оно и было, из всех качеств, которые имели такое большое значение в этот момент истории, – их вера в историческую роль рабочих, их твердые убеждения и, вероятно, самое существенное – самодисциплина – играли наиважнейшую роль. Не стоит недооценивать и их безжалостного оптимизма, мужества и отваги. Только с этими чувствами они могли пережить все грядущие испытания.

Для меня лично, как для гуманиста, их сочувствие угнетенным казалось таким же важным. Не то чтобы они говорили о своих чувствах, разве что иногда: например, Янышев с гневом рассказывал о том, что в Японии люди используются в качестве вьючных животных, в качестве рикш. Как и Ленин, они говорили о конкретных условиях, которые закабалили людей, и люди произносили слова ненависти к такой системе, которая не любит рабочих. И только во время похорон Ленина Крупская сказала: «Он глубоко любил всех рабочих, всех угнетенных. Он никогда об этом не говорил, никогда не говорил и я. Наверное, я никогда бы не сказала об этом в какой-нибудь менее торжественный миг».

Разумеется, речь шла не об одних рабочих. Как говорил Энгельс, «коммунизм – это вопрос человечества, а не одних только рабочих».

Все эти качества имели существенное значение в период, когда массы двигались вперед к захвату власти Советами. Могли бы они остаться в хороших отношениях с моими друзьями во время консолидации революции после ее победы? Как бы они жили, когда революция вступила бы в свою последнюю, конструктивную фазу и их призвали бы организовывать производство и административный комплекс и выполнять прозаические задачи в связи с созданием кредитоспособного социалистического общества? Как бы Янышев, Восков, Володарский, Нейбут рабо-

тали в последующий период? Их способности и послужной список обеспечили бы им ответственные места в новом правительстве (Володарский после Октября стал членом Центрального комитета партии). Сохранился бы их идеализм? Не отравила ли бы их власть, не стали ли бы они высокомерными из-за своей должности? Не сделались бы отъявленными бюрократами?

К сожалению, на это ответа нет. Они так и не попали в этот поздний период по причине гибели в борьбе с контрреволюцией. Среди большевиков, которых я знал лучше всего, только Петерс и Рейнштейн пережили контрреволюцию.

Володарский был убит в Петрограде в июне 1918 года, когда я находился во Владивостоке. Его убийство было первым в ряду террористических покушений, совершенных эсерами. До этого была совершена неудачная попытка убийства Ленина; факты расследования также привели к социалистам-революционерам.

Нейбут был одним из моих друзей по Владивостоку, который также был убит. Гражданская война застала его в Сибири, и он был расстрелян белыми в Омске в 1919 году.

Янышев был убит белогвардейцем на фронте Врангеля в 1920 году. Он был военным комиссаром 15-й дивизии 8-й красной армии. Как и Рид, он похоронен возле Кремлевской стены.

Восков, который во время Гражданской войны командовал 7-й армией, а в 1919 году – 9-й дивизией, захватившей Орел, умер от тифа в Таганроге, 19 марта 1920 года.

Все могут сказать, что такие черты, которые я видел в них, сохранялись весь ранний период революции. Ленин считал, что делать революцию и захватить власть с помощью рабочих и крестьянской бедноты гораздо легче, чем удержать ее. И все же они прошли самый тяжелый период, когда отдельные люди, как и все общество в целом, казалось, рождались заново, а потому обрели бессмертие.

Когда я вспоминаю эту горстку русско-американских коммунистов, я понимаю, что революция все равно бы свершилась, даже если бы они в ней не участвовали. Ничто бы не изменилось. Я посвятил так много места им потому, что они не только типичны для большевистского революционного движения, но явились прототипами нынешней поросли молодых революционеров в Азии, Африке и Латинской Америке. И потому, что я знал их, я сразу воспринял Ленина как духовного вождя, а не как человека во плоти, и поэтому, когда я позже узнал его, я чувствовал себя с ним легко и свободно. Но вероятно, я и так бы легко чувствовал себя с ним. Во всяком случае, я так думаю.

## Глава 3

### Прокричал красный петух

Когда в царской России загоралась деревенская изба, у крестьян на этот счет была такая поговорка: «Опять прокричал красный петух». Маленькие деревни могли состоять из одной длинной дороги, иногда с несколькими перекрестками. И неизменно, какими бы отдаленными ни были пределы деревни и участки земли, перепадавшие в руки некоторых жителей, которые должны были вспахивать и засеять их, бревенчатые дома строились вдоль дороги вплотную друг с другом. И если каким-нибудь ветреным днем кричал красный петух, искры быстро захватывали крытые соломой крыши, и пламя мчалось по обоим концам деревни, превращая ее в пепел. Таким образом, для старой деревянной Руси красный петух был зловещей птицей.

Долгим жарким летом 1917 года красный петух без устали кукарекал по всей русской земле. Этот провозвестник несчастья посещал не только крестьянские избы, но и барские поместья, и дома крупных землевладельцев. После репрессий «июльских дней» Петроград и Москва погрузились в тягостную тишину и голод. Деревня, взбудораженная другим голодом – извечным голодом русских крестьян к земле, бунтовала, и восстание распространялось беспрепятственно.

После Февраля крестьяне ждали, что революционное правительство будет справедливым и отдаст им землю. Они больше не желали ждать. И в апреле полился поток сообщений о захвате земель в провинциях.

В середине июля, когда я с Янышевым поехал в деревню под Владимир, на поверхности все казалось спокойным. С того момента, как мы вышли из поезда среди возвышавшихся холмов, похожих на волнующееся море на этом огромном океане земли, что расстилался перед нами, – нам показалось, что мы страшно далеки от рева революции, который я слышал в июне и в первые несколько дней июля. Мы остановились передохнуть на высшей точке дороги, которая вела через владимирские холмы. Вдалеке простиралась поля зреющей золотой ржи, то тут, то там сквозь золото проступали голубые цветы васильков. Мы должны были пешком добраться до конечного пункта нашего путешествия – до деревни Спасское. Чуть ближе под нами спускающаяся вниз дорога открывала прекрасный вид с горы, и можно было разглядеть в подробностях небольшие деревеньки – серые, истрепанные непогодой бревенчатые избы, крытые коричневой и янтарно-желтой соломой, журавли колодцев с привязанным к шесту ведром, а над всем этим возвышались сверкавшие на солнце купола церквей.

Янышев снял кепку и застыл, оглядывая акры земли, которые он видел в последний раз лет десять назад. Легкий ветерок ерошил ему волосы. Я никогда не знал, какие у него волосы; они редели, и с острой болью я впервые осознал, что он стареет. Сколько ему лет? Я этого не знал; но человек сорока пяти лет мне тогда казался очень старым.

– Я чувствую себя, как прогульщик, – сказал я. – Вам хорошо, вы же получили приказ отдохнуть десять дней. Но я боюсь, что все забуду о революции. Разве это не идиллическая картина?

Какое-то время он не отвечал. Потом рассеянно произнес, все еще упиваясь пейзажем: – Здесь вы тоже найдете революцию.

Крестьянин, которого мы наняли, чтобы он провез нас часть дороги в телеге, начинал беспокоиться. Однако Янышев все медлил. Я ждал каких-либо сентиментальных комментариев. Ничего не услышав, я проявил несдержанность. Этот открывающийся вид, широкий, волнующий, эта безграничность земли и неба, вероятно, пробудили в нем мечты, которые он лелеял, которые наверняка были связаны с устремлением переделать общество и самого человека. Так я сказал:

– Можете себе представить? Все кажется неизменным. Это единственное место, где можно предположить, что время замерло. Но теперь это ненадолго!

Похоже, он вовсе не слышал меня.

Громадное пространство холмистой земли было разделено небольшими отрезками и участками неогороженных полей, узкими делянками, причудливо окрашенными в желтые и зеленые цвета, от робкой и нежной зелени второго урожая ржи, проступавшего через величественное золото созревающей пшеницы, которую согласно традиции оставляли для переработки в муку для привилегированных сословий. Я подумал о просторных участках пшеницы на родине, в Канзасе и в Дакоте, а также о полях Айовы. По сравнению с ними эти отдельные делянки показались мне полями, засеянными для расы лилипутов.

Когда мы ехали, а затем шли пешком через сменяющие друг друга села (некоторые из них были очень маленькими), я часто видел те же длинные улицы, окаймленные крестьянскими хибарами. Это, как и путаница крошечных полей, было продуктом метода земельного распределения, пояснил Янышев. То, что когда-то было основополагающей чертой в разных европейских странах, – земля в общественном владении – все еще сохранялось со многими искажениями в царской России. В соответствии с традиционной практикой периодически производилось перераспределение земли, и пахотной и луговой, каждым *миром*, или деревенской общиной, и таким образом каждый член получал то же ограниченное количество узких делянок земли, хорошей и скудной, с лесами и пастбищами, которыми все могли свободно пользоваться.

*Мир* сохранился только в России, со всеми пережитками системы распределения земли, архаичной и расточительной, из-за чего земельные наделы крестьян были маленькими и обособленными. Это объясняет то, почему дома строились на очень близком расстоянии друг от друга. Отмена крепостного права при Александре II в 1861 году и столыпинская реформа от 9 ноября 1906 года<sup>16</sup> ослабили сельские общины, но не смогли полностью покончить с ними.

До того как мы добрались до Спасского, я заметил, что будет интересно узнать, что думают крестьяне о Ленине. По крайней мере, это дало бы некое представление о том, правы ли умеренные социалисты, обвиняя Ленина за захват земли, пожары и разрушения, которые имели место в деревнях. (Естественно, Милюков был в авангарде хора голосов, приписывавшего все бедствия в сельских районах советам Ленина.) Один только голос Ленина говорил крестьянам: «Идите и берите землю». И добавил: «Делайте это организовано, в соответствии с решением большинства крестьянства в деревне, волости, уезда или губернии – и при том, что один будет сеять, будут выделены местные комитеты, назначенные для этой цели (распределения земли); и помните: это должна быть не частная земля, но собственность всего народа. Более справедливое распределение, регион за регионом, может совершаться только государственной властью и должно дожидаться Учредительного собрания<sup>17</sup>.

Как я говорил, в Петрограде Ленина обвинили за восстания, вспыхнувшие в деревне. Вот что я хотел узнать: а слышали ли вообще его когда-нибудь крестьяне?

И тогда Янышев предупредил меня:

---

<sup>16</sup> Петр Аркадьевич Столыпин (1863–1911) был губернатором Гродно, затем Саратова, а в 1906 году стал министром внутренних дел. В июле этого же года он сменил на посту премьер-министра Горемыкина. См.: Робинсон Г. Т. Сельская Россия при старом режиме. Нью-Йорк, 1932. С. 194. «Путем продажи земли и особенно роспуском общин должен был быть построен зажиточный и преданный класс мелких собственников...» Воинствующий националист, Столыпин был уверен, что только таким образом царизм можно было защитить от натиска либеральных и радикальных оппонентов.

<sup>17</sup> С самого начала Временное правительство обещало перераспределить землю и созвать Учредительное собрание, последнее должно было быть избрано всеобщим, равным прямым и тайным голосованием. Однако Временное правительство ничего не дало, но попросило крестьян подождать до Учредительного собрания, когда землю можно будет перераспределить легально, и в то же время постоянно откладывало созыв Учредительного собрания. Созыв же его давно уже был важной частью программы большевиков и продолжал оставаться ею даже после возвращения Ленина, хотя и с некоторыми изменениями.

– Не задавайте слишком много вопросов. Ответы вы получите, но неверные. Крестьяне согласятся с вами, потому что таким образом они выражают гостеприимство к чужакам.

И помните: сначала они будут вежливы, даже со мной, но будут держаться настороженно. И кроме того, не заставляйте рассказывать о себе молодых парней и мужчин средних лет. Скорее всего, это солдаты, которые пришли домой без разрешения, одни из сотен тысяч, кто проголосовал ногами против политики правительства, создавшего новую коалицию и собирающегося продолжать войну<sup>18</sup>. Они могут гордо заявлять о своем солдатском статусе, однако это может их задеть, или, еще хуже, они подумают, что вы – шпион. Еще недавно правительство Милюкова посылало агентов, которые «убеждали» крестьян успокоиться, склоняли к умиротворению. И теперь кавалерийские войска входят в какие-то деревни недалеко от Казани, чтобы собрать дезертиров и вернуть их на фронт. И крестьян арестовывают, даже подвергают порке, чтобы заставить их ждать, пока земельная реформа не станет *легальной*.

Когда мы вошли в Спасское и направились к дому Ивана Иванова, я заметил знаки пожаротушения на выцветшей краске по углам домов. Какая-то небольшая доска изображала лестницу, немного дальше стоял дом с такими же досками, «украшенными» ведрами для воды. На одном доме был приделан огромный багор, из длинного сцепленного крюка. Таким образом крестьяне, сбежавшиеся на борьбу с огнем, напоминали себе, где они могут найти необходимые инструменты для борьбы с пожаром. Я сказал Янышеву, что хотел бы как-нибудь посмотреть на ведра, крюки и прочее снаряжение в домах, внутри.

В доме Ивана Иванова нам оказали торжественный прием. Поздороваться с нами пришли взволнованные соседи, старожилы, раздражаемые любопытством по поводу возвращения Михаила Петровича. Все изумленно взирали на внешность американца, и из-за этого я забыл о своей просьбе посмотреть на приборы для пожаротушения. Но Янышев не забыл. Утром мы вышли на улицу с крестьянином Дворкиным. Я более пристально осмотрел знаки на домах, в двух из них я познакомился с семьями, увидел снасти и приспособления и торжественно обсудил пожары. При этом все мы избегали затрагивать одну тему, которая вызывала у всех интерес, – постоянное присутствие красного петуха в 1917 году, от Черного моря до озера Ладога.

– Ваши деревенские дома, – сказал я Дворкину, у которого я уже заметил склонность к иронии, – всегда собраны таким образом и так близко друг к другу, что в случае пожара полностью выгорает вся деревня.

– Да, – согласился Дворкин и хитро поглядел на меня. – Когда красный петух прокричит в одном доме, часто бывает, что он заорет по всей деревне. Но ведь, – весело добавил он, – мы, крестьяне, все делаем сообща. Мы пашем, сеем и жнем вместе. Мы вместе молимся и вместе напиваемся. Вот мы и стараемся, чтобы и дома у нас сгорали у всех заодно.

– Понятно, – сказал я. – Но разве не обидно, что дворяне тоже не строят свои дома рядом? Ведь в таком случае этим летом в некоторых провинциях у вас было бы много работы, не так ли?

---

<sup>18</sup> Первое Временное правительство состояло из представителей буржуазных партий, с преобладанием кадетов, или конституционных демократов. После отставки П.Н. Милюкова, министра иностранных дел и давнего лидера партии кадетов, а также русского либерализма в целом, а также А.И. Гучкова, военного министра, Советы рабочих и солдатских депутатов согласились объединиться с буржуазными партиями и войти в правительство. Таким образом, в мае пять портфелей в кабине были отданы представителям Советов. В первом Временном правительстве Керенский был единственным социалистом, причем официальных представителей Советов в нем не было; теперь их было шесть, а Керенский сменил Гучкова на посту военного министра. Львов был арестован как глава первого Временного правительства. Первое коалиционное правительство продержалось два месяца. 8 июля, когда восстание «июльских дней» продемонстрировало, что оно больше не пользуется поддержкой масс, Львов подал в отставку. Керенский помчался на фронт, чтобы произносить там речи, которые никоим образом не смягчили общий кризис после поражения наступления в Галиции; ему не удалось пробудить рвение в войсках, и он оставил их не более пылкими, чем до своей кампании, и вернулся, чтобы выдвинуть себя в качестве нового главы правительства. И в первом, и во втором коалиционном правительстве министры– социалисты были представителями партии социалистов-революционеров, меньшевиков и интернациональных меньшевистских партий, и в обоих кадеты сохранили свои места. И только большевики оставались вне правительства и не шли на компромисс с его политикой.

Янышев, переводя, бросил на меня предупреждающий взгляд. Однако Дворкина не так-то просто было загнать в угол. Он сказал, что не знает, что происходит в других деревнях; в Спасском нет больших имений, нет ни церквей, ни бар.

– Вся эта земля наша, но нам и ее не хватает.

Нам пришлось услышать те же жалобы в разных формах, пока мы находились в Спасском. Однако они не рассказывали всю историю. Так говорили те, у кого *была* земля. Тех же, у кого земли не было, или почти не было, было гораздо больше. Они жили тем, что продавали себя в качестве наемного работника в сезон пахоты и жатвы тем, у кого земля была, или получали сезонную работу на текстильных фабриках Нижнего Новгорода или в Москве.

Все Спасское через несколько часов узнало, что Янышев большевик, но из вежливости никто об этом не упоминал, по крайней мере дня два. Между тем он особенно выделил семью Ивана как человека, который много поездил и многое узнал. Как говорили крестьяне, он «пил воду из девяти колодцев».

Особая учтивость выказывалась странному американцу. Задавались формальные вопросы, такие как: «А сколько у вас земли?» Сначала я пытался избегать ответа на этот вопрос, особенно на мировом сходе, на который меня пригласили на второе утро после приезда. Эти семьдесят седобородых мужиков представляли крестьян, у которых земля была. Вероятно, для американца они были бы бесполезны, если бы у них не было земли. Однако когда бойкий молодой человек, одетый в выцветшую поношенную блузу и штаны на два размера больше, чем нужно, забрел в этот вечер и ради приличия задал мне тот же вопрос, я ответил:

– У меня нет ни десятины. Мне земля не нужна.

– Как может человек жить без земли? – спросил он, по-настоящему озадаченный, и глаза Янышева сверкнули, когда он перевел мне этот вопрос. – Ведь это более странно, чем жить без водки, или без икон, или без детей. Как вы можете быть уверены, что вы живете на земле, когда ее нет у вас под ногами? Как дерево без корней, лошадь без кормушки или страна без царя.

А потом, увидев мою улыбку и вспомнив, что Февральская революция свергла Николая II, он добавил, сначала взглянув мне в лицо, а затем посмотрев на Янышева, словно желал прочесть по ним свою судьбу:

– Да, это верно, у нас не осталось Романовых, но говорят, что придет новый царь. Некоторые уже видели и слышали, как он сказал: «Сами берите землю. Чего вы ждете?»

Такую же застенчивость и недоверие к партии Янышева крестьяне некоторое время выказывали и по отношению к его отцу. Его отца, учителя, как-то раз забрала царская полиция. Он этого ждал, спокойно повернул ключ в замке школьной двери и сдался жандармам. Школа оставалась закрытой. При обоих царях, сменивших Александра II, намеренно велась политика: помешать обучению крестьянства и позволить расцвести неграмотности. Из-за всего этого было слишком много беспорядков, и восстание с образованием шли рука об руку.

Теперь, когда все больше и больше людей приходили, чтобы посмотреть на нас, пыхтел самовар и подавали чай и квас, никто не упоминал об учителе, который жил среди них. Возможно, кто-то из стариков, которые так тепло встречали нас, были замешаны в аресте учителя. Тем не менее нам сказали, что в соседней деревне есть учитель, которого все считали чудачком, потому что он не мог зарезать цыпленка, ни даже убить блоху или таракана. Он очень переживал из-за убийств на фронте, а в июне, когда пришли новости о том, что Временное правительство, уступив давлению со стороны союзников, приказало начать широкомасштабное наступление в Галиции, он, который боялся раздавить блоху, пришел домой после уроков и покончил с собой. Никто из тех, кто присутствовал в избе, не разделял его отвращения к наступлению (которое через несколько дней после серьезных отступлений было остановлено, потому что многие одетые в форму крестьяне испытывали такие же чувства). Однако лишиться себя жизни – такое, как сказал один из селян, делают, насколько он знает, только дворяне. Он слышал о нескольких случаях самоубийства среди «хозяев». Но для крестьян все по-другому:

«Мы с крепостью духа умрем, когда придет наш час, однако мы не зовем смерть. А почему мы должны ее звать?»

Когда мы остались одни, лежа по ночам на сеновале, Янышев смеялся от удивления, что его принимали так. Двадцать лет назад кто-нибудь выдал бы его полиции, если бы кто-нибудь просто заподозрил, что он – социалист. Теперь, через пару дней, то один, то другой стали спрашивать: «А не скажет ли Михаил Петрович небольшую речь?» На этот раз Янышев решил выждать. Он все еще был охрипший после безудержных выступлений перед выборгской аудиторией в Петрограде. Ему нужно было отдохнуть. Он также хотел подождать, не поступят ли еще какие-нибудь просьбы. И только когда кто-то прямо огласил вопрос – не может ли Михаил Петрович сказать, что собираются делать большевики и что именно этот Ленин сказал на крестьянском съезде, – он согласился, что сделает это. И все же он выжидал, пока не стало ясно, что большинство деревенских жителей придут послушать, что он скажет, а может, даже придут люди из соседних деревень. Это очень взволновало нас.

Ленин произнес речь на крестьянском съезде 22 мая, перед моим приездом в Петроград. Только два дня назад съезд офицеров потребовал арестовать Ленина. Его это не испугало, и он появился перед крестьянскими делегатами, большинство которых были либо эсерами, которые пристально следили за механизмом бюрократической партии или представляли крестьян, владеющих большими земельными наделами. Я видел, что здешний мир, в деревне Спасское, состоял в основном из таких крестьян.

Но очевидно, удалось заползти и некоторым мелким крестьянам. Суханов описывает, как, поглощенный интересом крестьянского съезда, Ленин развивал свою программу «прямых действий», свою тактику по захвату земли вне зависимости от ограниченных законом пределов, и добавляет: «Может показаться, что Ленин высадился не просто в лагере ожесточенных врагов, но можно сказать, он оказался в зубах крокодила. Небогатые мужики слушали его внимательно и, вероятно, не без симпатии. Однако они не осмеливались показать это».

Суханов присутствовал среди делегатов крестьянского съезда, официально созванного в Мариинском дворце, когда они пытались отыскать закон, чтобы остановить широкое распространение продажи земли землевладельцами<sup>19</sup>.

Премьер Львов, Керенский и Терещенко сначала выслушали солдатскую делегацию с фронта, а затем крестьянскую. После цветистого вступления, в котором офицер говорил о желании умереть за революцию, он от всего сердца «сообщил Временному правительству, что мы почитаем его, доверяем ему и бесконечно поддерживаем его, пока оно не выполнит...».

При этом премьер повернулся на каблуках и вышел из комнаты, а другие министры повернулись к крестьянам. Седой низкорослый крестьянин честно, чуть ли не со слезами на глазах попросил, чтобы скорее издали закон, который помог бы сохранить земельные ресурсы, однако возбужденный и бледный Керенский перебил его и сказал, что тревожиться не о чем: Временное правительство «предпринимает шаги». Однако один из крестьян начал говорить о том, что землю им давно обещали, но ничего не сделали. Разъяренный этим Керенский ответил:

– Я сказал, что это будет сделано, значит – будет! И нечего так подозрительно смотреть на меня!

Суханов объясняет, что эти депутации отличались от тех, что прибывали двумя месяцами ранее.

---

<sup>19</sup> Землевладельцы, боявшиеся революционного движения и обещанных земельных реформ, которые должны были быть изданы отложенным Учредительным собранием, торопились распродать свои владения. Богатые крестьяне выжидали, надеясь, как крестьяне, предвосхитить экспроприацию. Многие продажи были фиктивными; землевладельцы, которые думали, что разрешат оставить у себя небольшие земельные владения, продавали поместья небольшими участками подставным владельцам. Часто применялся прием – передача владения иностранцам, гражданам союзнических или нейтральных стран.



Формула о *дальнейшей* поддержке правительства, так как его поддерживали Советы, вошла в сознание народных масс. Само правительство между тем прекрасно понимало невозможность такого рода существования, которое, как каждый это понимал, сохранялось благодаря *разрешению Советов*. Наивный офицер наступил на любимую мозоль главе кабинета... Керенский прав, беднейшие крестьяне смотрели *подозрительно* на известного народного министра. Крестьянская делегация в конце концов пришла к тому же вопросу, что делегация с фронта.

Да, жить так дольше было невозможно.

Янышев привез с собой речь Ленина, обращенную к крестьянам; она была напечатана в одной из газет 25 мая 1917 года. Он читал ее мне и заставлял меня читать ее в качестве моих регулярных уроков русского языка здесь, в Спасском. Мы также обсуждали, какие части речи следует особо подчеркнуть в его предстоящем выступлении. Вот эта речь, в которой Ленин, в частности, говорил:

«...Десять миллионов людей не заставят революцию подчиниться, но они это сделают, когда их положение станет отчаянно безнадежным, когда люди окажутся в невозможном положении, когда решимость десятков миллионов людей прорвет старые преграды и сможет создать по-настоящему новый образ жизни.

Русские люди лишь в массе способны предпринять серьезные шаги по новой дороге, когда возникнет крайняя нужда. И мы говорим вам, что время пришло, когда крайняя нужда стучится в дверь... крах день ото дня приближается к нам все ближе и ближе, час за часом. И это не из-за злобы отдельных людей, но из-за мировой войны с ее агрессией, из-за капитализма.

Война уничтожила миллионы людей, целый мир затоплен в крови. [Я прошу вас решительно шагать] по дороге общей обработки земли без капиталистов и помещиков. [Только это] приведет к настоящей передаче земли рабочему народу».

Наконец был назначен день, когда Янышев должен был произнести речь перед сельчанами. Тем временем я был занят тем, что принимал участие в их праздниках, посещал крестины и похороны. Я даже немного работал в полях, которые предварительно были освящены (вокруг них ходили с иконами). Я размахивал косой, пока мои руки не покрывались волдырями, вязал снопы, и, таская их на разболевшейся спине, я начинал понимать, что жизнь крестьян – отнюдь не вечная идиллия мира и красоты, какой ее можно было вообразить, глядя на владимирские поля и деревни с высоты холма.

Янышев говорил с телеги в центре деревенской площади. Был вечер, и я взволнованно изучал лица, освещенные единственным фонарем. Здесь собрались молодые и старые, они были торжественны, немногословны; местные власти, которые поприветствовали меня на мировом сходе, образовали твердый фланг поблизости от оратора.

Бедный Янышев. Я ему не завидовал. Не то чтобы они были открыто враждебны. По крайней мере, некоторые из них. Мужчина лет семидесяти, который, как я видел, стоял торжественно, как Мидас, и перебирал в пальцах толстые колосья росшей на его полях пшеницы, довольно рано в тот вечер затопал прочь со схода. Мне показалось, что большинство собравшихся настроены скептически, а может, просто уклоняются. В то же время в их вопросах часто присутствовал особый соленый юмор, которым повсюду в мире наделены угнетаемые классы. Это и безыскусственная честность людей, все еще выросших в феодализм, которые не пользовались преимуществами (и недостатками) образования в буржуазно-демократическом обществе и для кого простое слово «свобода» имело конкретное значение.

– А что говорят большевики насчет земли? – начал Янышев.

Здесь он был на правильном пути. Я с тревогой посмотрел ему в лицо, пытаюсь не обращать внимания на черты, которые я знал так хорошо, как ладонь своей руки, но видеть в нем незнакомца; он на самом деле казался спокойным и, как я чувствовал, уверенным в себе. Он

подчинялся всем обычаям, как гость деревни. Он соблюдал протокол. Теперь он обращался к большей аудитории, чем та, что состояла из нескольких человек в доме Ивана, которые время от времени вызывали его на короткий разговор с ними. Голос его уверенно звенел. Его партия – не единственная, кто стоит за землю для крестьян. Крестьяне с давних пор верили партии социалистов– революционеров, построенной на лозунге дать больше земли крестьянам, вернуть крестьянам землю. Даже меньшевики выступали за земельную реформу. Но что на самом деле случилось после Февральской революции? Что изменилось после того, как второе коалиционное правительство, поддерживаемое меньшевиками и эсерами, с эсером Керенским во главе, пришло к власти? Ничего. Абсолютно ничего. Что говорили сами Советы, которыми управляли эсеры и меньшевики, обо всем, что происходит в деревне? Все эти голоса говорили: «Подождите, подождите. А тем временем заключайте сделки с помещиками». Все соглашались, продолжал он, что земля должна быть в собственности всего народа и ее нужно передать крестьянам бесплатно, и только центральная государственная власть (Учредительное собрание или Всероссийский съезд Советов) могла отдать это окончательное распоряжение.

Разногласия начались, говорил Янышев, после того, как Ленин сказал об этом на Крестьянском съезде, в то время как остальные говорили, что любая *немедленная* бесплатная передача земельных наделов крестьянству – незаконный акт. И Янышев процитировал слова Ленина: «Мы считаем эту точку зрения самой ошибочной, самой предвзятой по отношению к крестьянству, предвзятой для земледельцев; это менее всего обеспечит страну хлебом; поэтому такой подход несправедлив».

– Почему лишь добровольное соглашение между крестьянином и землевладельцем, между человеком, который ищет пахотную землю, и тем, кто владеет землей, считается нашим Временным правительством законным? – спросил Янышев. – Почему крестьяне, которые хотят повлиять на немедленную передачу и распределение земли местными комитетами, обвиняются в неправомерных действиях, которые идут вразрез с потребностями государства? Именно это мы отрицаем, с этим мы спорим, сказал Ленин. Он также сказал: «По нашему мнению, наоборот, если землевладельцы оставят землю для собственного использования или будут получать с нее ренту, то это случайно. Но если большинство крестьян скажет, что поместья и земля не должны оставаться в руках помещиков и что крестьянство не знало от этих помещиков ничего, кроме гнета на протяжении десятилетий, веков, то это не случайно, это восстановление справедливости»...

До этого момента Янышев говорил то, что хотела слышать его аудитория, он четко плыл по курсу, до поры до времени. До тех пор пока он говорил о том, что необходимо пинком прогнать помещиков и забрать их землю, крестьяне упивались его словами. Он коснулся некоторых событий, которые недавно произошли в городе и в деревне. Он не преминул предположить, что у рабочих, которые также вышвырнут хозяев, и крестьян, прогоняющих помещиков, будущее одно. Одни должны поддерживать друг друга. Иначе получится так, как в других странах – крестьяне восстали и выиграла, но вскоре увидели, что все их завоевания потеряны, а репрессии возобновились с новой силой.

Ленин, сказал он, понимает, что захваченная земля должна быть разделена земельными комитетами до новых посевов. Затем он предположил, что может произойти, если на смену буржуазной парламентской республике придет социалистическая республика, и как индивидуальное хозяйствование в основном уступит место новой экономической системе широкомасштабного возделывания земли.

И тут слушатели забеспокоились. Было очевидно, что они не привыкли к таким новомодным представлениям о крупных общих хозяйствах. Они были раздражены, безразличны или открыто враждебны всем разговорам о более масштабных вопросах социализма, о будущих планах Ленина насчет внедрения тракторов, электричества, разнообразного хозяйствования и создания молочных ферм.

– Очень хорошо, товарищ говорун, – раздался голос из толпы. – Большевики могут сделать такие громадные вещи. Но они могут сделать больше земли? Только Бог может сделать это.

Я с недобрим предчувствием следил, как один за другим крестьяне потихоньку расходились по домам, в то время как Янышев продолжал выступать перед все сокращающимся числом слушателей. У него было несокрушимое терпение. Более того, он понимал своих слушателей. Он улыбался. С Богом мы соревноваться не станем, ответил он. Однако если мы обрабатываем бросовые земли, устроим ирригацию в засушливых районах, проведем воду в пустыни и сделаем регионы с нечерноземной землей богаче, путем внесения в почву удобрений, то мы сможем получать больше пользы от земель. У нас появятся огромные пространства пахотной земли, такие, какие он видел в Америке, и даже больше, огромные, как Владимирская область. Они сами увидят. Запряжем лошадей в реки, осветим темные деревни и заставим государство оплачивать переезд семей из ограниченных областей или маргинальных земель в более богатые. Ни одному крестьянину больше не надо будет работать на помещика или другого крестьянина.

Однако для старой гвардии это было уже слишком. Он стоял на ногах, когда говорил о захвате земли. Но все остальное, о чем говорил Янышев, после этого казалось фантастикой.

– Вы гонитесь за журавлем в небе, Михаил Петрович, – с достоинством заметил один старый крестьянин и ушел.

Из круга, освещаемого дымящейся керосиновой лампой, один за другим стали выходить крестьяне, растворяясь в темноте... Они уходили подальше от несбыточного.

– Что ж, судя по тому, как обстоят дела, они так и должны были поступить. Как пахали наши отцы, так и мы пашем, – сказал я Янышеву, когда мы побрели домой на наш сеновал в избе Ивана. Это был юмор висельника, и я чувствовал, что Янышев должен признать, что потерпел поражение. И потом, более мягко, я добавил: – Молодые «фермерские руки», как мы зовем их в Америке, и один или два крестьянина показались мне по-настоящему заинтересованными. В конце концов, они не рабочие фабрики «Треугольник» или завода «Старый Парвиайнен»<sup>20</sup>.

Я продолжал болтать, думая, что этим развеселю Янышева. И только когда мы уткнулись на ночь в душистое сено и желтый месяц светил через квадратное отверстие в стене амбара, Янышев подал голос и ответил, откусывая огурец, который он предусмотрительно оставил для нашей полуночной трапезы:

– Знаете, Альберт Давидович, вы все неправильно поняли. Я вовсе не расстроен. Ничуть. Я чувствую себя вполне довольным, что сходка прошла так хорошо.

И как порой происходит между двумя близкими людьми, сейчас, когда Янышев взял мою сторону, я тут же почувствовал, что он ведет себя совершенно неразумно. Может, я просто устал постоянно соглашаться с Янышевым или меня глубоко обеспокоило то, что я должен был признать, что мои первоначальные впечатления о деревне и крестьянах и мире были несколько романтичны.

В конце первого дня нашего пребывания в деревне я объявил, что мог бы остаться здесь жить навсегда (и я на самом деле несколько лет прожил в деревне), под этими крытыми соломой крышами, с которых соломинки свисали, как косматые волосы некоторых наших хозяев и

---

<sup>20</sup> Это были наиболее воинствующие группы рабочих, которые 12 апреля, чуть позже после прибытия Ленина из ссылки, выпустили интересные резолюции, напечатанные в «Известиях», официальном органе Советов. Они побуждали Советы рабочих и солдатских депутатов «категорически потребовать» от Временного правительства немедленно опубликовать все тайные договоры, в которые вступил с союзниками царь, поскольку это является требованием для созыва международной конференции для начала переговоров о мире и т. д. Рабочие завода «Старый Парвиайнен» пошли далее: они потребовали удаления Временного правительства, «которое служит только препятствием революционному делу», и передачи власти в руки СВСД, образованию Красной гвардии и народного ополчения, а также «немедленного захвата земли крестьянскими комитетами и передачи всех средств производства в руки рабочих».

соседей. Однако в ночь перед сходкой Янышев ворчливо признал, что огромные печи значительно сокращают помещение двух комнат, и они, как правило, есть во всех избах. И в других отношениях мое первое впечатление о Спасском как о сельском рае померкли под силой его аргументов. Расчерченные поля были живописны, когда на них смотришь с вершины холма, однако их размер ограничивал зажиточных крестьян, не давая им пахать и боронить в полную силу, а затем косить и жать урожай. В основном эти приспособления (косы, бороны) делали из древесины, притащенной из леса. В деревне был металл – хорошая бронза, однако она была на колокольне, из нее сделаны пять колоколов, которые так звонко гудели в ясном утреннем воздухе. Я должен был признать, что сельскохозяйственная проблема в России никогда не будет разрешена такими примитивными средствами производства. Что же до бедных крестьян, какими были 80 процентов всех русских земледельцев, то у них вообще не было земли, и они были вынуждены наниматься вместе со своими семьями батраками и работать на других. Я вынужден был признать, что сам мир, со всеми его идеалами справедливости и равенства, больше не был «силой», как говорил Ленин, уже в 1903 году.

Я с пылом ел из общей миски. Ну да, с научной точки зрения я допускал, что это неразумно, но все равно продолжал получать от этого удовольствие. И поэтому я не стал спорить с Янышевым, когда тот предположил, что наш сеновал привлекательней вдвойне, поскольку спасал нас от блох и тараканов.

И все же был один момент, из-за которого я не мог искренне согласиться с Янышевым. Даже во владимирских деревнях, страдавших от нехватки земли, где не было участков, которые можно было бы захватить, явно чувствовалось, что напряжение растет. Иначе Янышева ни за что не встретили бы так тепло и его ни за что не пригласили бы, чтобы он сказал им, «к чему готовы большевики» или «что на самом деле сказал Ленин». Возможно, крестьяне не слышали Ленина, однако среди них были те, кто были настроены слушать его.

Это вдвойне доказало наше дальнейшее пребывание в Спасском. Разные крестьяне, которые примкнули к исходу стариков с собрания, устроенного Янышевым, теперь искали возможности встретиться с ним наедине или якобы случайно, когда он по вечерам гулял по проселочной дороге. Среди них были и несколько крестьян из близлежащих деревень. Их разговоры указывали на расхождение во взглядах в деревне между молодежью и стариками, между бедняками и кулаками, что вместе составляло некое революционное брожение. В этом медленно закипавшем деревенском восстании старики-патриархи, чтобы сохранить свои привилегии и привилегии, объединялись во время праздничных церемоний и игр, в ритуалах, отмечавших рождение или смерть, и таким образом утвердились в убеждении, переходившем от поколения к поколению: земля должна по праву принадлежать тем, кто на ней работает. Это выражалось их поговоркой: «Земля не принадлежит людям, она Божья».

Мы уезжали из деревни ярким безветренным утром и устремились к Волге на пароход до Нижнего Новгорода, а там должны были сесть на поезд на Москву. Наш добрый хозяин и женщины из его семьи, казалось, были искренне опечалены нашим отъездом. Соседи тоже собрались, мы перецеловались и переобнимались со многими. Разумеется, женщины только смотрели, когда дело дошло до такой формы прощания. Я пообещал вернуться (что и сделал через несколько лет), однако я не слишком горевал, когда забросил свой потрепанный чемодан рядом с чемоданом Янышева и запрыгнул в телегу, которая должна была облегчить первую часть нашего путешествия. Поездка, предстоявшая нам, слишком волновала меня. Волга играла свою роль в русской революционной истории, и теперь именно эта река притягивала меня к себе.

Пароход был переполнен. Мы купили билеты второго класса, но Янышев захотел подняться на верхнюю палубу, чтобы послушать, что говорят дворяне, хотя можно было не сомневаться, что они могли плыть вторым или даже третьим классом, притворяясь кем угодно, только не аристократами или помещиками. Янышев внимательно слушал, пытаясь получить

как можно больше информации. Поскольку я наверняка бы начал выказывать наши чувства по поводу революции, я оставил Янышева одного с его джентльменами и спустился на палубу четвертого класса. На этих больших судах, что ходили по Волге, эта палуба использовалась для перевозки чего угодно и кого угодно, в том числе безземельных крестьян. Изначально вынужденные оставаться в деревнях из-за долгов, которые распространялись на весь мир, крестьяне получали разрешение лишь на краткосрочные паспорта, по которым они могли «поработать на стороне», но после относительного облегчения паспортных правил, установленных революцией 1905 года, они могли ездить из Петербурга в Москву. Либо они искали работу ближе к дому, в небольших промышленных городах вроде Нижнего Новгорода, Ярославля, Рыбинска и в других волжских городах.

Я стоял на самой нижней ступеньке широкой лестницы, которая вела из удобной, сравнительно элегантной палубы третьего класса, и смотрел на целые семьи, сбившиеся в тесные кучки вместе со своими узлами и чайниками между возбужденным домашним скотом и корзинами с продуктами. В воздухе стояло зловоние. Мужчины сидя дремали, дети спали, растянувшись на ящиках. Матери кормили младенцев грудью; другие готовили чай; группа молодых людей в дальнем конце пела под аккомпанемент гармошки. Пароходный колокол монотонно гудел. Все было окутано смрадом. Наверху едва ощутимый утренний ветерок разгонял воздух, однако внизу можно было просто задохнуться. Я помню, что кроме иллюминаторов палуба освещалась некоего рода светильниками, прикрепленными через определенные промежутки вдоль перегородки (шпангоута), от них шел тусклый, однако устойчивый свет, вроде того, что дают керосиновые лампы типа «летучая мышь», какие были во времена моего детства в северной части Нью-Йорка.

Подумав, что я хочу сесть, ширококостная крестьянка, сидевшая рядом с лестницей, передвинулась к своему мужу и принялась сгребать пожитки в кучу и подтаскивать к себе спящих детей, чтобы высвободить мне место. Я как-то не нашел слов, чтобы отблагодарить ее за это типичное русское гостеприимство. Я хотел сказать: «Почему вы не подниметесь наверх и не сбросите сюда дворян? Ведь именно вы должны наслаждаться теми креслами наверху!» Забыв от ярости русские слова из своего и без того скудного запаса, я указал на лестницу, на верхнюю палубу и энергично закивал головой. Женщина лишь принялась обмахивать себя платком из-за невыносимой жары и непонимающе посмотрела сначала на меня, а потом на мужа, который пожал плечами, словно говоря: «Не обращай внимания на этого полоумного». Удрученный, я поднялся наверх, к Янышеву.

На нижней палубе из двух верхних я остановился на звук, идущий из-под носа корабля. Это были лотовые, они опускали размеченные шесты и выкрикивали глубину воды. Их регулярные сообщения, которыми они озвучивали результаты замеров, для человека, который в первый раз слышал их, казались почти песней. Я наблюдал за ними, вспоминая, как Марк Твен описывал это занятие в «Жизни на Миссисипи». Волга, как Миссисипи, полна предательских отмелей и смещающихся песчаных пластов, поэтому ремесло капитана требовало такой же жестокой подготовки, как та, которой с такой гордостью овладел Марк Твен. Причалы представляли собой квадратные деревянные понтоны, соединенные наклонным деревянным же мостком с берегом. Время от времени пароход садился на песчаную отмель, и тогда движение наше задерживалось до тех пор, пока нас не отбуксировывали на глубину. Лотовые играли свою роль, однако капитан обязан был знать реку и ее мудреное русло, особенно вблизи береговой линии.

Когда мы снова вышли на середину реки, я направился на верхнюю палубу, к Янышеву. Вспоминая с чувством вины зловонную яму внизу, я опустил в удобный шезлонг на палубе. Мы плыли вниз по течению. Ветви плакучей ивы погружались в воду с легких склонов левого берега. Вдоль кромки крутого глинистого правого берега медленно брел крестьянин, ручной

сохой он вспахивал поле. Его одинокая фигурка выделялась на фоне бесконечного огромного неба.

Янышев повторил то, что услышал от группы помещиков. Все они были чуть ли не в панике из-за крестьянских бунтов, поджогов и грабежей. Генерал озвучил общую истерику: «Мир обычно обвинял Россию за то, что она ссылала революционеров и сажала их в тюрьму. Даже я в своем юношеском идеализме чувствовал, что царь слишком сурово обращается с ними. А теперь посмотрите на дело их рук! Царь был слишком снисходительным. Ему нужно было сразу же расстреливать их».

Убаюканные движением парохода, жарой и однообразием солнечных небес, отражавшихся в безмятежной Волге, мы погрузились в молчание. Чуть южнее расстилалась бескрайняя степь. Янышев задремал. И снова я подумал о терпеливых бедняках на нижней палубе; могли они по-настоящему быть в родстве с теми, чья ярость и чувство мщения приводили в ужас дворян, которых описывал Янышев? Приближаясь к историческому Нижнему Новгороду, городу еще более старому, чем Москва, мы проплывали мимо деревни, где началось великое восточное переселение славян через обширную евразийскую равнину, задолго до того, как история славян появилась в летописях, до VIII века.

Жизнь была тяжелой; из-за климата, почвы и облесения в центральных и в северных областях трудно было заниматься земледелием. И все же, благодаря тому что небольшие деревеньки образовывались семьями и родственниками, и тому, что, по мнению всех историков, земля и инструменты в основном находились в общем пользовании, а плоды своего труда они рассматривали как общее достояние, люди не чувствовали себя оторванными друг от друга и не ощущали того болезненного одиночества, что было характерно для жизни первых поселенцев Америки. К концу XVI века крестьяне, которые до того были свободными людьми и могли переезжать, куда им было угодно, фактически превратились в рабов; легализация этого статуса произошла позже.

Солнце садилось. Мы подождали с чаем, пока толпа не поредела. Даже в обычное время, сказал Янышев, обеденный салон на таких пароходах был небольшим, в нем не хватало официантов и запасов. Меня заворожило очарование постоянно меняющегося неба. На чистом небе вдруг появились барашки, пылающие красные и лиловые краски на западе поблекли, а розовое пятно простерло свой свет над пушистыми кучевыми облаками. Мы задержались, чтобы полюбоваться волшебным русским закатом августовским вечером.

Вдруг мы услышали крики и заметили какое-то общее движение. Мужчины сгруппировались на противоположной палубе. К этому времени облака уплыли с неба, оставив темные клочковатые пряди над высоким правым берегом. Слева берег плавно поднимался и переходил в довольно высокий холм, на котором какой-то разборчивый, с тонким вкусом помещик выстроил великолепную усадьбу, объятую теперь громадными языками пламени, возносившись в темное, безоблачное небо.

Твердое дерево, из которого было построено здание, охвачено огнем. Дым клонился к земле, густой и тяжелый, фонтан искр взлетал вверх, высокое желтое пламя устремилось к небесам. Вокруг раздавались отборные русские и французские эпитеты, слышались даже слова на немецком, комментирующие эту позорную Жакерию. Некоторые пассажиры ходили вдоль по палубе с похоронным видом, в то время как другие вцепились в поручни; лица их были мрачны, и, без сомнения, они читали собственную судьбу в этих тлеющих углях. Я остался бы дольше, глаза на эту картину, если бы Янышев не потянул меня за рукав. Спустившись в обеденный салон, мы увидели на нижней палубе привлекающую внимание фигуру, стоящую возле лестницы. Судя по виду, это был кочегар. Он стоял с обнаженными руками, положив жилистую руку на полированную балюстраду, насмешливо наклонил голову и взирал на остатки холокоста. Янышев перехватил его взгляд и обменялся с ним парой слов. Кочегар красноречиво харкнул и добавил:

– Еще одно дворянское гнездо сгорело, – и раскачивающейся походкой спустился по лестнице вниз, переступая через две ступеньки.

– Может, пойдём за ним, или, по крайней мере, на нижнюю палубу?

На нижней ступеньке я продолжал слушать Янышева, который вступил в разговор со стоявшей поблизости кучкой людей. Я заметил, что теперь все взрослые пробудились от спячки. Мужчины казались возбужденными, они переговаривались друг с другом. Веселые глаза, казалось, противоречили серьезной сосредоточенности, с которой они говорили, жестикулировали, спорили.

– Они знали об этом, все в порядке. Получили насчет этого сигналы. Кое-кто беспрепятственно вышел из толпы и поднялся наверх. Для большинства из них такое зрелище не внове, я так думаю, – с довольным видом произнес Янышев, пока мы поднимались вверх по лестнице.

А мое суждение о «покорных» крестьянах улетучилось, испарилось в дыме сгоревшей барской усадьбы.

## Глава 4

### Одинокий голос

После того как мы с Янышевым посетили Спасское и проплыли по Волге, я уехал из Петрограда с Алексом Гумбергом, чтобы проехать по Украине. Я видел еще одно поместье, охваченное пожаром, разговаривал с крестьянами. И вновь я гулял по колышущимся лугам, мимо куп сосен и берез, листья которых начинали желтеть, и вновь думал: как странно, что вся эта умиротворенная картина скрывает за собой величайшего агитатора России – русскую землю. И вновь я открыл для себя деревню, на этот раз Елизаветград, откуда родом был Гумберг, которая была на обочине кипящего революционного котла, но все же постепенно пробуждалась. В целом я подтвердил свои прежние впечатления: что если рабочие одной из столиц или обеих сбросят Временное правительство, провинции не отстанут от них.

Возвратившись в Петроград, я узнал, что с каждым днем поступало все больше и больше сообщений о поджогах и грабежах помещичьих усадеб. Крестьяне этим сигнализировали о том, что окончательно перестали верить обещаниям правительства. Им нужны были земля и мир. И поскольку трем временным правительствам так и не удалось обеспечить их этим (и к тому же собиралось формироваться очередное правительство), они решили сами разобраться с этим. Возросло число случаев дезертирства из армии.

Ничто из этого не проходило мимо Ленина, который, по мере того как истекал сентябрь, писал все более страстные статьи. Из своего подпольного укрытия – вначале в шалаше недалеко от Разлива в пригороде Петрограда, а затем из Финляндии, где он мог легче получать газеты, а в конце сентября из квартиры на Выборгской стороне, – он выступал в печати и писал частные письма все более революционного характера. Гонг ударил. Ленин призывал к неповиновению.

Его первые письма, призывающие к восстанию, не датированные из соображений безопасности, были написаны между 12 и 14 сентября. Они были обращены к Центральному комитету большевиков и к Петроградскому и Московскому комитетам партии. И хотя они не публиковались в то время, внутри партии и среди разных большевистских организаций эти письма циркулировали. Отдельные слова из них распространялись как лесной пожар, особенно некоторые соответствующие фразы или предложения, такие как: «История не простит нам, если мы не захватим сейчас власть». Мы слышали эту фразу от Петерса, и Риду нравилось произносить ее, пока мы гуляли по ночам по Невскому проспекту.

– Вы звучите, как греческий хор, – заметил я, – но хор с единственным слушателем.

Вместо ответа, Джон повторил фразу и добавил:

– Человек, написавший эти строки, играет перед аудиторией, которую не вместит ни один амфитеатр.

Разумеется, слухи часто искажали эти первые письма о восстании. Их обсуждали, о них спорили, их разрывали на части, они становились предметом жарких спекуляций и темой разговоров за закрытыми дверями и на уличных перекрестках, возможно, в большей степени, чем если бы они были напечатаны.

Вероятно, никогда в истории не было заговора о свержении правительства, который бы так глубоко и тщательно обсуждали все слои общества, и чтобы его так давно откладывали бы сами заговорщики. Вскоре ни для кого не стало тайной, что Ленин встречался с оппозицией из большинства лидеров большевиков, особенно с Зиновьевым и Каменевым, а также с Рязановым, Бухариным и другими.

Революция – это не театральная репетиция с ежедневно чередующимися репетициями, с генеральной репетицией и с датой, назначенной на премьеру. В Петрограде в сентябре 1917 года в воздухе носился напряженный дух ожидания очень важных событий. Все допускали, что



большевики должны были как-то разрядить тяжелую ситуацию, которую признавали все без исключения. Для этого им нужно было свергнуть правительство – правительство с кадетами или без них и вне зависимости от того, был ли сам Керенский «корниловцем» или нет. Не было ничего необычного в том, как дородные спекулянты и помещики-землевладельцы брюзжали, что у большевиков, конечно, теперь появился шанс; и какая разница, трусы ли они или желтые?

От Гумберга, который в то время работал в американском Красном Кресте, мы услышали забавные истории о том, как посол Фрэнсис однажды взял большевиков на задание: лишь для того, чтобы они попусту не тратили время на восстание. То, что это не самый дикий памфлет Гумберга, указывает письмо Фрэнсиса, написанное им в это время его сыну Перри: «Повсюду в воздухе здесь носятся слухи о заговоре большевиков, однако восстание, которое здесь предвещают, похоже, никогда не случится – здесь всегда происходит только нечто неожиданное».

Еще ранее Фрэнсис писал Дину Волтеру Вильямсу из школы журналистов университета Миссури: «Величайшая угроза нынешней ситуации заключается в силе чувств большевиков, опьяненных своими успехами (которые в немалой степени можно приписать краху корниловского движения), которая может свергнуть нынешнее Временное правительство и начать выполнять его функции через его представителей. Если создадутся такие условия, то в кратчайшие сроки, несомненно, произойдет крах, а тем временем может пролиться кровь, хотя ее было на редкость мало пролито с начала революции...»

Губернатор, как Харпер и другие советники называли Фрэнсиса (а по своему характеру он так и остался бывшим губернатором Миссури, «Недоверчивого штата»), был уверен, что большевики не возьмут власть, а потом – что они все равно падут. В любом случае он всегда мог сказать, что если они не возьмут власть, то исключительно по его совету, при этом Ленина, Троцкого и «других лидеров большевиков» он с презрением отвергал. В своей книге он показывает, как предлагал это министру иностранных дел Временного правительства еще в июле.

Первые письма Ленина о восстании появились во время Демократического совещания, через пару недель сразу после того, как был подавлен мятеж Корнилова. После немалой суеты и хлопот насчет аккредитации мне все же удалось вместе с группой делегатов попасть на это совещание. Джон Рид и я вместе с Бесси Битти находились в секции прессы и сравнивали наши заметки с отчетами других корреспондентов, которые, как и мы, мало чего ожидали от этого тщательно подготовленного общенационального съезда. Конгресс был созван по инициативе меньшевиков и эсеров, чтобы усилить поддержку Временному правительству после того, как Московское государственное совещание, проводившееся месяцем ранее, оказалось больше форумом, выступающим за силы Корнилова, нежели за Керенского. Умеренные, которые боялись растущей реакции, исключили большевиков из собранных по Москве делегатов, пытаясь умиротворить их, получили то, что заслуживали: еще более решительный бросок в поддержку военной диктатуры. Среди тех, кто задавал тон на московских переговорах и организовывал поддержку Корнилову, был московский банкир, миллионер Павел Рябушинский, который сообщил на съезде представителей торговли и промышленности за несколько дней до конференции, что «костлявая рука голода» приведет народ «в чувство». Русская земля «сама освободится», но, очевидно, без поддержки, ибо он призывал: «Нужны купцы, чтобы спасти Русскую землю!»

Милюков подробно изложил этапы борьбы за власть, которая имела место в августе, в брошюре «Корнилов или Ленин?». Теперь, отрывочно слушая речи на Демократическом совещании, мы с Джоном Ридом обсуждали самые поздние сообщения, которые доносились нам по слухам о двух письмах Ленина о необходимости восстания. Впрочем, для Джона никакие слухи не были достаточными. Он слышал, что большевики собирались на совещание по поводу пожеланий Ленина, высказанных в его последнем письме.

– Как бы достать это письмо? Я бы им сейчас воспользовался, – сказал он.

– Попробуйте попросить об этом Воскова, Володарского или Якова Петерса, или кого мы знаем, – засмеялся я.

Это было письмо, написанное Центральному комитету, в котором Ленин призывал большевиков собраться на конференцию, чтобы выработать решение о необходимости окончательно покончить с буржуазией и сместить все нынешнее правительство. Однако Ленин был достаточно реалистичен, чтобы понимать, что конференция, даже если бы она должна была заявить о себе как о перманентном революционном парламенте, «ничего бы не решила». Таким образом, он рекомендовал после краткого представления партийной программы делегатам «всей нашей группе» рассеяться по фабрикам и баракам, по «источникам спасения нашей революции». И там, «пылкими и страстными речами» они должны объяснять программу и выдвинуть альтернативу: либо конференция примет ее, всю, целиком, либо люди должны принять восстание.

– Среднего пути нет. Промедление невозможно. Революция гибнет.

Ставя вопрос таким образом [перед фабриками и бараками], *мы должны будем определить подходящий момент для начала восстания...*

Я почувствовал почти жалость к Керенскому, когда он предстал перед Демократическим совещанием и начал свое пространное обращение. Это был человек, который каждое утро вставал с кровати Александра III в Зимнем дворце и, глядя в зеркало, видел в нем высокого, молодого круглолицего мужчину, который случайно стал премьером. Обычного человека, если только не принимать во внимание упорство, с которым он продолжал видеть в себе спасителя революции. Мы слушали его гладкие, красноречивые, пустые фразы; голос его взлетал чуть ли не до фанатичной силы, а затем каденциями опускался до шепота. Он предпринимал отчаянные усилия, чтобы остановить прилив. Он выглядел бледным, глаза его неотступно смотрели на большой Александринский театр поверх голов аудитории, словно они застыли в ужасе, и этот шок начал проявляться на его лице, даже если он сам отказывался признавать это.

Наряду с «буржуями» он оказался в затруднительном положении. Потрясение от неминуемого восстания так же парализовало их умственные силы, как удар бича. Куда поворачивать? Бедный Керенский, после Октября он пребывал в состоянии постоянного шока, сохраняя образ мыслей, позицию и даже речи 1917 года.

И Рид, и я, как я уже ранее объяснял, пропустили Корниловский мятеж. Однако его результаты были нам известны. С этим бунтом произошло резкое смещение сил. Неистовые аплодисменты Корнилову, звучавшие на Московском государственном совещании, смолкли. Тогда почему же не обрел силу его соперник, Керенский? Почему мятеж Корнилова отчасти выгнал самого Керенского и укрепил большевизм только в Петрограде? Ответ лежал в отношениях между двумя соперничавшими людьми и тем, чего они желали.

Для них было важно одно – диктатура, хотя они различались в выборе диктатора. Все это с каждым днем прояснялось все ярче по мере того, как всплывали новые факты о событиях 22–26 августа. Сюда входили переговоры Керенского с Корниловым через посредников, и оба человека пользовались ими, пока, окончательно запутавшись, они не поняли всю бесполезность этих переговоров. Это был один из мелких фарсов, который ненадолго осветил сцену в то время, как неумолимо разворачивалась суровая драма революции.

Неудачным посредником, который совершил ошибку, пытаясь служить двум господам, был В.Н. Львов (не путать с князем Львовым), член первого Временного правительства, который пять месяцев служил обер-прокурором Святейшего Синода. Словоохотливый и назойливый господин с лишь «чистейшими» намерениями спасти буржуазию посредством диктатуры, он, очевидно, разрывался на части между двумя людьми, метался от одного к другому, пытаясь сблизить их.

Для того чтобы понять, как это безуспешное *tour de force*<sup>21</sup> могло вообще возникнуть, нам придется внимательнее взглянуть на расстановку сил в августе. Еще до того оба этих человека – Корнилов и Керенский – относились друг к другу с подозрением. Правда, Керенский назначил Корнилова главнокомандующим, через шесть дней после того, как он передал Корнилову полномочия, включая восстановление смертной казни (отмененной после Февральской революции) для дезертиров и бунтарей на фронте. Это был приказ Бориса Савинкова, заместителя Керенского по военному ведомству. Савинков много лет был заговорщиком-эсером и террористом, который сделался мозговым центром наивного Корнилова, в то же время оставаясь другом Керенского, его сотоварищем по партии социалистов-революционеров. Керенский прекрасно понимал, какую ненависть он внушает среди солдат из-за введения смертной казни и других жестких мер, которые лишь способствовали дезертирству с фронта. А Корнилов знал, что Керенский с удовольствием сместил бы его.

И в то же время оба этих человека, Корнилов и Керенский, нуждались друг в друге. И чем больше один боялся другого, тем больше они нуждались друг в друге, поскольку еще больше их пугала вздымающаяся волна большевизма.

Львов был, наверное, последним человеком, который попытался взять на себя роль конспиратора. Несмотря на то что им руководил и его представлял Савинков, известный архиконспиратор, Львов все равно слишком много болтал. Когда Львов появился в Зимнем дворце, Керенский согласился с его планом, якобы согласился – так позднее объяснял премьер, чтобы проверить его суть, а главное – суть Савинкова. А когда Львов вернулся в Могилев, где находилась Ставка армии, чтобы заверить Корнилова, что он, Львов, представляет Керенского, проверка произошла.

Четыре дня продолжались конспиративные встречи. Львов сам поверил в то, что он друг Керенского и представляет себя послом Керенского у Корнилова, и посредником в Зимнем дворце, направленным генералом и Савинковым. Тем временем подозрения Керенского росли, и он поставил за шторами высокого полицейского чина, чтобы тот подслушивал и выступил свидетелем в окончательной схватке со Львовым 26 августа. Именно тогда Львов узнал: то, что он благодушно считал «соглашением», на деле обернулось «заговором» и «изменой». «Соглашение» должно было быть отмечено Временным правительством самым мирным и законным образом, формальной отставкой и передачей власти Верховному главнокомандующему. Однако, несмотря на то что Корнилов отказался стать кем-либо, кроме главы государства, объяснил Львов, генерал согласился на то, чтобы Керенский остался в правительстве в качестве министра юстиции.

В то время как Керенский брызгал слюной и пылал, позволив спрятавшемуся за шторами свидетелю понять, насколько он разгневан, Львов, как позднее выяснилось в его свидетельских показаниях, умолял его склониться к тому, что он предлагает, как к наилучшему выходу; по крайней мере, говорил он, жизнь премьера была бы спасена. Сам Корнилов обещает обеспечить безопасность Керенского, если тот прибудет в Могилев; у Львова было на это слово Корнилова. У самого же Львова наивность перелилась за край и превратилась в глупость. Однако он *был* честен. Итак, после того как Львов заверил Керенского, что тому будет гарантирована безопасность в Ставке, он добавил с ноткой нервного возбуждения: вообще-то возможно, что Керенский может быть убит или арестован. Львов слышал это от одного старшего военачальника в ставке.

И какую награду получил Львов? Играя в сыщика, Керенский по частному телеграфу вызвал Могилев и попросил Корнилова. Может ли быть, что именно Львов представляет Корнилова, спросил он. И так далее. В результате Львов был взят под стражу по приказу его «друга» Керенского. Тем временем Керенский, однако, продолжал разыгрывать из себя детек-

---

<sup>21</sup> Усилие (фр.).

тива и продолжал болтать с Корниловым по телефону, говоря о том, что прибудет на следующий день в Ставку, как о деле решенном. Трубецкой, дипломат, работавший в Министерстве иностранных дел под началом Терещенко, позже сказал, что он видел генерала Корнилова после этого разговора вечером 26 августа и что генерал якобы вздохнул с облегчением. А когда дипломат спросил, не означает ли это, что «правительство прибывает, чтобы встретить вас по всем правилам», генерал сказал: «Да».

Львов находился под арестом, хотя не официально обвиненный, провел остаток ночи в Зимнем дворце, охраняемый двумя равнодушными часовыми, и слушал через стену, что отделяла его от комнаты Александра III, как Керенский, счастливый из-за развязки этого странного недоразумения, распевал оперные рулады.

Все, что можно сказать, – это то, что Керенский и Корнилов изначально плели заговоры, пытаясь очистить Петроград от сомнительных войск и прибытия казачьих войск, поддерживавших диктатуру; Корнилов, неискушенный в дипломатии и хитрости, проявил себя и показал, что у него с Савинковым имеется собственный заговор. И когда была получена телеграмма в Могилеве от Керенского с приказом остановить продвижение войск на Петроград, Корнилов отдал другой приказ, отменяя первый, и выставил три кавалерийские дивизии, отправив их по железной дороге.

Утром 27 августа в прессе не появилось ни слова о заговоре Корнилова. Тем не менее вести о Корниловском мятеже пробились в Смольный, и большевики тотчас же пришли в движение: они вступили в контакт с фабричными комитетами и Красной гвардией и отрядили их на защиту города<sup>22</sup>.

Остальное хорошо известно: 27-го Керенский объявил, что мятеж развивается, и призвал партию большевиков на помощь. А что еще он мог сделать? Ему нужно было замести следы.

Весной Ленин сказал на Крестьянском съезде: «Революции не делаются по приказу...» Но все, что случилось с тех пор, как Керенский сменил князя Львова на посту премьера 8 июля, казалось, предопределило дальнейший рост большевиков и неизбежность восстания. Их лидеров арестовывали, бросали в тюрьмы, и при этом большевики больше всего вызывали доверие в глазах рабочих. Мятеж Корнилова закончился провалом, и опять было так, словно Ленин из подполья, играя вслепую, упорно и победоносно перемещал людей по шахматной доске.

А теперь, на Демократическом собрании мы слушали тридцатичетырехлетнего Керенского, который в апогее своей речи объявил, что ненавистному закону о смертной казни пришел конец. И так, даже он в конце концов понял, что подписание им 12 июля этого декрета было роковой ошибкой<sup>23</sup>.

– Разве он не понимает, что слишком поздно? – спросила Бесси Битти.

---

<sup>22</sup> После июля красногвардейцы должны были действовать тайно, чтобы скрыть свое оружие. К Октябрю организации распространились вглубь и вширь. Были учреждены штабы красногвардейцев во всех рабочих районах. В положении, принятом на совещании красногвардейцев 23 октября 1917 года (одна сотня делегатов представляла почти 20 000 организованных красногвардейцев на этих переговорах), было записано: «Рабочая Красная гвардия состоит из рабочих, рекомендованных социалистическими партиями, фабричными комитетами и профсоюзами». Четвертый пункт гласит: «Строгое соблюдение дисциплины и безусловное подчинение избранным органам Гвардии должно быть основано не на слепом подчинении, но на осознании исключительной важности и ответственности перед обязанностями и долгом Рабочей гвардии, а также на факте, что Гвардия – полностью свободная и независимая демократическая организация». Когда Керенский 4 сентября приказал распустить Красную гвардию, красногвардейцы спокойно проигнорировали приказ. Кое-кто спрятал ружья. А кто-то открыто отказался сдавать оружие, несмотря на приказ, и спрятал его.

<sup>23</sup> Сомнительно, чтобы ко времени Демократической конференции Керенский, не способный разрешить противоречия нынешней ситуации, был в состоянии признать или определить свои суровые ошибки. Троцкий цитирует Милюкова (История русской революции / Пер. Макса Истмана. Нью-Йорк, 1932. Т. II. С. 348), который описывал, каким он ему показался в этот период премьер, следующими словами: «Чем дальше шел Керенский, тем больше он выказывал все признаки патологического состояния духа, которое на медицинском языке может быть названо «психической неврастенией». Милюков, добавляет Троцкий, приписывал Кишкину влияние, которое тот оказывал на Керенского. Кишкин был кадетом, министром Временного правительства и психиатром, который умело обращался с премьером как с пациентом.

– Он, наконец, решил, что «самосуда» следует бояться больше, чем военных, поэтому он отказался от использования силы. Только надолго ли? – спросил Рид<sup>24</sup>.

– Я не слышал, чтобы он что-либо говорил о войсках, выставленных где-либо против крестьян. Впрочем, и это не пошло ему на пользу, – добавил я.

Демократическое собрание показалось нам довольно глупой затеей. Сначала делегаты проголосовали за коалиционное правительство. (Все министры подали в отставку в ночь на 26 августа: сначала кадеты, которых менее всего затронули бы события в случае поражения или успеха Корнилова; затем остальные, почему именно так – мы до сих пор не можем разобраться, но якобы потому, что Керенский хотел обладать единоличной властью, чтобы иметь дело с Корниловым.) Затем поправка, исключаящая кадетов из правительства, прошла с незначительным перевесом голосов. Поскольку удаление кадетов означало, что в правительстве остаются одни социалисты, Керенский отказался возглавлять какое бы то ни было правительство, кроме коалиционного, тогда делегаты проголосовали значительным большинством против резолюции в целом. Они завершили собрание, отдав власть – как будто имели власть, которую могли бы кому-то отдать! – Совету республики, или Предпарламенту, о котором у них, однако, хватило ума сказать, что он не будет иметь властных полномочий, будучи консультативным, а не законодательным органом. Это была как заезженная пластинка, которая скрипела, заглушая рев революции: так родилась четвертая коалиция, еще более бесполезная, чем прежние.

Очевидно, предложение Ленина товарищам так и не дошло до их совещания. Говорильня у Александринского театра закончилась, а «пылкие и страстные речи» так и не были произнесены. Троцкий, неожиданно, буднично и без всяких объяснений выпущенный из тюрьмы 4 сентября, был довольно быстро назначен председателем Петроградского Совета, присутствовал на конференции. На самом деле на ней были почти все, кроме Ленина, относительно ареста которого «демократическое» правительство продолжало регулярно, неделю за неделей, издавать новые приказы. Когда Троцкий поднялся, чтобы произнести речь, все избранные господа – представители буржуазии, ибо, по словам Ленина, собрание состояло не из революционных элементов, а из «компромиссной мелкой буржуазии», – вытянули шеи, чтобы поглядеть на него. Для многих это был их первый взгляд на человека, которого, после Ленина, они считали наиболее опасным среди выскочек, отбросов и закоренелых арестантов, из тех, что сейчас правили столицей. Однако мы тщетно ждали, пока раздастся какой-нибудь сигнал «черной толпе», рабочим в черных блузах, что настало время подниматься. Суханов в своих мемуарах иронизирует по поводу речи Троцкого, потому что, обрисовывая экономическую программу большевиков, он не употребил слова «социализм». В этом Суханов усмотрел какой-то план по одурачиванию народа. Мы не обременяли себя таким педантизмом. Мы просто пытались выхватить слово «восстание».

Мы побрели за расходившимися делегатами мимо небольшого парка напротив Александринского театра, по улочке, где стояла статуя Екатерины Великой. На скипетре в ее руке все еще трепетал кусок красного флага, слишком изношенный, чтобы его можно было носить.

Мы с Ридом возобновили наши отчаянные поиски и сновали между Зимним дворцом и Смольным, американским посольством и Выборгом, пытаясь везде и всюду поспеть, и таскали за собой наших переводчиков, чтобы они читали нам газеты и пытались рассортировать страшно противоречивые заявления.

Как и все в столице, мы настороженно и упорно ждали, что что-нибудь произойдет. Эта тревога ожидания была сродни лихорадке.

---

<sup>24</sup> Ответ пришел днем 24 октября, когда Керенский, пытаясь заручиться кредитом доверия от Совета республики (также называемого Предпарламентом), пообещал сокрушить восстание «черни» и попросил членов Совета о поддержке.

С одной стороны, существовала угроза беспорядков. Насилие, чуть ли не осязаемое, витало в воздухе. Сотни тысяч винтовок оставались в руках рабочих и матросов после разгрома Корниловского мятежа. На одном только Путиловском заводе 40 000 рабочих ждали момента, чтобы выйти на улицы. На заводе «Гренада» почти вся рабочая масса была мобилизована в Красную гвардию. Напряжение было велико на заводе «Рено», на Обуховском заводе и в Сестрорецке. В Москве по всему городу распространялись забастовки во время государственного совещания, люди протестовали против неучастия большевиков в совещании. Через месяц рабочие стояли на такой твердой позиции, что им было все равно, делает ли Демократическое собрание что-нибудь или нет. Многого они не ждали. В конце каждой смены красногвардейцы маршировали и тренировались с ружьями и штыками либо собирались и обсуждали тактику или голод. Как и мы, они ждали сигнала.

Поскольку мы вычислили, что красногвардейцы первыми получают сигнал, мы продолжали наблюдать за ними.

– Насколько быстро они могут объединиться? – спросил я какого-то бородатого рабочего, наблюдая, как красногвардейцы стоят на фабричном дворе в ожидании инструктора. В руках они держали ружья, и пожилые мужчины стояли плечом к плечу с юными подмастерьями.

– Набор сейчас идет слишком медленно. Если он вообще есть. – Он умолк и оглядел меня. Лицо его было бесстрастным. Разочарование, удивление, может, даже некоторая досада, вероятно, были написаны у меня на лице, потому что я начал относиться к революции с некими собственническими мерками. В любом случае, старик вдруг улыбнулся и покровительственно сказал, словно сожалея о моем невежестве: – Видишь ли, товарищ, почти все фабричные к концу августа вступили в Красную гвардию. И кого, как ты думаешь, мы сейчас можем призвать? Хозяев?

– А что вы делаете с ружьями во время рабочего дня? – спросил я.

– Многие из нас, слесарей, держат их на скамьях, а мы вешаем рядом с собой. В слесарной мастерской их грудой складывают в углу и носят их чехлы. Это напоминает лагерь, точно. О, мы спокойны, выполняем свою работу – однако мы не проспим, когда придет момент.

Так все и происходило всякий раз, когда мы оказывались на Выборгской стороне. После июльских репрессий красногвардейцы прятали свое оружие и обычно действовали в обстановке полной секретности, когда речь заходила о собрании или вступлении в гвардию. Прием в партию на некоторое время резко прекратился. Но в начале августа набор в гвардию ускорился, и ружья стали носить открыто<sup>25</sup>.

Кризис наполовину парализовал районы города. На улицах почти не было никакого движения вокруг Зимнего дворца, однако рабочие районы бурлили и кипели, огромные митинги собирались у фабричных ворот или в зданиях, а небольшие митинги возникали на углах любых улиц. Но все же при возможных насилиях и при том, что фабрики напоминали военные лагеря, сохранялся некоторый порядок. Порядок не в германском смысле этого слова, но обычный беспорядок, который сходит за порядок в России. Как мне с некоторой гордостью сказал бородатый рабочий, они сделали свою работу. На многих заводах также были случаи стихийных выступлений – рабочие сажали управляющих в тачки и вывозили с фабрики. Это напоми-

---

<sup>25</sup> *Карр Эдвард*. Революция большевиков, 1917–1923. ч. III, Нью-Йорк, 1953. С. 61. Приводит официальные данные о числе красногвардейцев в Петрограде в октябре и называет цифру не более 12 000 (Большая советская энциклопедия. Т. 34. 1937. С. 579). См. у Троцкого в книге «История русской революции», т. III, с. 184. Рабочая гвардия ведет свое начало с 1905 года и возродилась после Февральской революции. Красная гвардия, или рабочая гвардия, существовала не только в Петрограде или Москве. В провинциальных промышленных районах «укрепление Рабочей гвардии влекло за собой полную перемену отношений, не только в пределах данного завода, но и вокруг него. Вооруженные рабочие убивали руководителей и инженеров и даже арестовывали их. По решениям, принятым на фабричных митингах, Красная гвардия довольно часто получала жалованье от фабричного казначей. На Урале, с его богатыми традициями партизанской борьбы 1905 года, отряды Красной гвардии, возглавляемые старыми ветеранами... почти незаметно разогнали старое правительство и заменили его советскими институтами».

нало ответное обращение по отношению к организаторам рабочих или радикалам в захолустных районах моей родины, когда их, обмазанных дегтем и вывалянных в перьях, вывозили из города по железной дороге. Все, что угодно, или ничто не могло удержать рабочих от того, чтобы не свалить злосчастливого управляющего.

Одно было очевидно. Передача власти, что является сущностью революции, уже имела место. Оставалось лишь назначить дату восстания, которое могло бы формальным образом закрепить эту передачу. Лишь фасад власти оставался в почти пустынных залах Зимнего дворца. Ближе к другому концу Невского проспекта, где ярко горел свет до глубокой ночи, находился Смольный, ставший теперь настоящим центром революционной власти, к которому стекались огромные толпы рабочих, одетых в черные блузы, делегации из перепачканных грязью солдат с фронта и группы моряков в лихо украшенных лентами бескозырках.

К этому времени Рид и я уже были глубокими сторонниками революции, и нас тревожило лишь то, что большевики не перейдут к действиям, пока не станет слишком поздно, и правительству каким-то образом удастся все уладить, чтобы подавить восстание, когда оно начнется. Мы спросили Янышева, Володарского и Воскова:

– За что вы боретесь? Чтобы Керенский открыл двери кайзеру?

И теперь мы завладели Петерсом. Мы знали через Битти, у которой устанавливались все более приятельские отношения с умиротворенным Петерсом, что он служил курьером для Ленина, пока тот прятался в укрытии.

– Послушайте, – возбужденно говорили мы, – мы ничего не понимаем в тактике, но мы слышали, что Ленин в эти дни занят статьями о необходимости вооруженного восстания, а Троцкий просто говорит о том, как советское правительство может сделать то или другое. Никакого намека на восстание. Вы можете дурачить народ сколь угодно долго, но тогда рабочие начнут думать, что большевики такие же болтуны, как меньшевики или эсеры.

В первый раз Петерс заговорил с нами резко.

– А что вы от меня ждете? Чтобы я дал вам копию нашего тайного плана? Никакого плана нет. Просто спросите себя, как этого можно достичь. Передав петицию Керенскому? Или получив обещания у Корнилова и у всех генералов, которые стояли на его стороне, что они не будут до этого касаться? Только восстанием можно добиться советского правительства на данном этапе. Ленин надеется, что члены партии осознают это. Наш лозунг «Вся власть Советам» в то время не означал именно это. Но теперь мы снова берем его, и в изменившихся условиях он означает именно то, к чему призывает.

С этими словами он покинул нас. Он нас отрезвил. Однако мы не были удовлетворены. Вероятно, настроение масс, разогреваемое словами и разговорами, было заразительным. Мы были обескуражены.

Даже те люди, о которых мы так бойко говорили с Петерсом, чтобы уколоть его, – что Керенский может открыть двери перед немцами, – больше не казались такими уж дикими. А тут еще Гумберг решил нас представить каким-то своим знакомым. Станный человек, любивший плутовские романы и фантастику, Гумберг гордился тем, что мог вращаться в любых кругах. Ему нравилось вышучивать осколки старой аристократии у них за спиной; его сардонический юмор упивался их откровенными и смехотворными речами о преданности нравам, которые можно было считать в разгуле революции либо негуманными, либо сверхгуманными. Еще больше он потешался над откровенно алчными нуворишами, пожинавшими плоды спекуляций, и настаивал на том, чтобы мы с Джоном пошли с ним как-то вечером в гости к купцу такого типа. Он сказал, что это – часть нашего образования, чтобы мы увидели, против кого сражается революция. Кроме того, мы могли угоститься икрой и прочими вкусностями.

За чаем собралось одиннадцать гостей, считая хозяев и меня с Алексом и Ридом. Как он и обещал, разговор их оказался на удивление простодушным. Например, отец искал супруга для своей пышнотелой дочери-вдовы и соблазнительно говорил об имении, которое он при-

обрел в черноземной провинции и которое, разумеется, записал на ее имя. Но теперь, когда дела тут разворачивались таким образом и существовала опасность, что выйдет новый закон, запрещающий продажу земли, сейчас, когда повсюду были большевики, он пытался перепродать имение какому-нибудь иностранцу. Он вопросительно смотрел на Джона, но Джон кивнул на меня и вкрадчиво заметил, что я – холостяк, и при этом со вздохом сказал, что он связан священными узами брака. Однако прежде чем нам удалось сбежать, мы должны были выпить чай, и во время чая разговор перешел на возможное вторжение в Петроград немцев. И опять же их откровенность доходила почти до наивности.

К сожалению, они рассматривали правление германцев чуть ли не как желанное явление, хотя и не были уверены, что так будет. Я не осмеливался взглянуть на Рида или Гумберга. Не сводя глаз с хозяина, я сказал:

– Но кажется, вы себя чувствуете весьма удобно здесь, все прекрасно устроились, у вас чудесная еда. Вы можете не любить Керенского *или* Ленина – но германцы, насколько я слышал, голодают. Разве все эти вещи, – и я рукой обвел богато сервированный чайный стол, подсвечники, сверкающие хрусталем канделябры, серебро, ковры, блестящую вазу с фруктами, с настоящими апельсинами и грушами, которых я не видел вот уже четыре месяца, – не будут сожраны?

– Пусть лучше германцами, чем Лениным и большевиками, – произнес чей-то стальной голос из-за стола.

Мне кажется, это был Алекс, который, чтобы развеять напряжение или из-за того, что ситуация призвала его мрачное чувство юмора, предложил всем проголосовать. Вопрос был поставлен так: «Кайзер Вильгельм или Ленин?» Результаты голосов оказались десять к одному в пользу кайзера. Те, кто не стал голосовать, ушли – немного стремительно, поскольку Алекс слышал рассказы о боксерских поединках Рида в прошлом.

Из-за того, что многие землевладельцы из провинций готовились бежать, и не столько из опасений перед германским нашествием, но из-за ожидаемого восстания, они продолжали толпиться в комнатах лучших гостиниц. Когда бы я ни приходил в «Асторию», где я на некоторое время снял комнату, я видел этих господ с супругами, роившихся и болтавших, как туча дроздов, присевших на короткое время на ветви дерева перед тем, как полететь дальше. Некоторые из них проведут остаток жизни в изгнании, на чужбине, и я встречал их в Публичной библиотеке в Нью-Йорке, озлобленных, мрачных, наполненных ядом, желчных и бесполезных для грядущих лет.

Дискуссии и споры о захвате власти продолжались и в Смольном. Даже для нас, кто стоял на обочине, это была война нервов. Пришел сентябрь, за ним октябрь. Что, разговоры будут продолжаться вечно? Все были напряжены, словно под дулом пистолета, однако никто не спускал курок. Толпы, везде толпы, но, в отличие от «июльских дней», никаких бесцельных спонтанных демонстраций – на самом деле демонстраций вообще не было, и никаких расстрелов полицией или солдатами. Большевики были под контролем, и в петроградских бараках, и на фабриках. И там и там у них были ружья. Солдаты, по крайней мере, должны были оставаться нейтральными. Красная гвардия рвалась выступить. Керенский не осмеливался приказывать петроградскому гарнизону выступить на фронт, ибо кому солдаты должны были подчиняться? Как ни странно, Керенский даже не имел законного права приказывать гарнизону уйти на фронт и заменить известных сторонников восстания проверенными солдатами, благодаря знаменитому приказу № 1. Один из первых и самых изобретательных революционных актов после Февральского переворота, он был написан флотскими и солдатскими депутатами и издан Советами. Согласно ему все приказы Военной комиссии Думы считались недействительными без санкции Советов.

Тем временем Ленин продолжал взывать к восстанию. Несколько десятилетий подряд и даже сегодня потоки книг о Ленине, выходящих в Соединенных Штатах, продолжают изобра-



жать его как безжалостного диктатора, полновластного и единственного хозяина монополярной партии, которая захватила контроль над Россией, пренебрегая народом. Но даже поверхностное изучение писем Ленина о восстании показывает совершенно противоположное. Он просил и убеждал, и речь его становилась все более и более яростной, однако он не сумел сдвинуть с места Центральный комитет. Он жаловался, что ему ничего не говорили, что редакторы собственной партийной газеты выбрасывали отдельные абзацы из статей, прежде чем публиковали их. (В то время ответственным редактором был Сталин; между тем Сталин поддерживал Ленина по вопросу о восстании, когда этот вопрос был окончательно поставлен на голосование.) Тон Ленина сделался более резким; его ощущение, что товарищи упустят единственную возможность успешной революции, в то время пока он отрезан от народа, становилось все более заметным.

В своем первом письме о восстании Ленин сказал: «Мы беспокоимся сейчас не о «дне» или «моменте» восстания в узком смысле этого слова. Это будет решено лишь общим голосом тех, кто находится в контакте с рабочими и солдатами, с *народом*». Но кто слышал его, этот голос народа? Не Центральный комитет, который ставил на обсуждение предложения Ленина. Поэтому вряд ли удивительно, что Ленин слишком беспокоился о дне и моменте, после того как узнал, что на собрании 15 сентября Центральный комитет не предпринял никаких действий по его первым двум письмам, а лишь принялся голосовать по поводу предложения Каменева уничтожить все экземпляры и скрыть их от партии.

С того момента громоподобные строки в его письмах и статьях, нараставших сокрушительным крещендо, загнали малодушных из Центрального комитета в угол. Но только после того, как он объявил о выходе из комитета, чтобы непосредственно обращаться к солдатам и офицерам, не будучи связанным партийной дисциплиной.

«Воздерживаться от того, чтобы захватить власть сейчас, «ждать»... ограничиться «борьбой за орган» (Советов), «бороться за Съезд» – *значит обречь революцию на провал*.

В свете того факта, что Центральный комитет оставил без ответа настоятельные требования, которые я выдвигал (о политике восстания) с самого начала Демократического собрания; в свете того факта, что Центральный орган *выбрасывает* из моих статей все ссылки на вопиющие ошибки со стороны большевиков, как, например, позорное решение участвовать в Предпарламенте... и так далее и так далее. Я вынужден рассматривать это как «тонкий» намек на то, что мне следует заткнуть рот, и как предложение подать в отставку.

Я вынужден сделать Центральному комитету предложение о своей отставке, что я и делаю, сохраняя для себя свободу проводить кампанию среди рядовых членов партии и на партийном съезде».

Это было написано 29 сентября. Это был отрывок из части шестой, единственной тайной части статьи «Кризис назрел», первые пять частей которой Ленин отметил как «Можно опубликовать». (Четыре оставшиеся части так и остались неопубликованными.) Часть шестая, писал Ленин, «должна распространяться среди членов Центрального комитета, Петроградского Совета, Московского комитета и в Советах». Довольно широкое распространение!

Дальнейшее объясняет, почему задолго до революции Октябрьское восстание широко обсуждалось, взвешивались все за и против многими, кто не был вождями и даже не были большевиками. Если бы у Ленина не хватило мужества и проницательности, чтобы выставить напоказ свое тупиковое положение в Центральном комитете перед нижестоящими кадрами, Октябрьская революция могла бы не свершиться.

Тем временем Рид и я пребывали в состоянии опьянения, смешанном с изумлением. Ибо даже среди второго и третьего эшелона большевистских вождей лишь немногие сейчас отлынивали, не горя желанием быстро захватить власть, и поэтому их переиграли Зиновьев и Каменев. Услышав, что Луначарский тоже с ними, мы были потрясены этой новостью и решили,

что все дело так и закончится разговорами. (Это оказалось слухами. Газеты так упорно об этом сообщали, что Луначарский решил выступить в одной из газет с опровержением, чтобы обрисовать свою позицию и подчеркнуть свое единство с партией. Это было в октябре.) Хотя мы очень ценили Луначарского, но все же стали сомневаться. Среди высших вождей, с кем я говорил на этот счет, – с Рыковым, Бухариным, Каменевым, Калининим, Троцким – только Троцкий выступал за восстание *сейчас*.

Крупская, работая в администрации большевистского районного комитета в Выборге, по вечерам учила взрослых рабочих в школе, часто читала вслух членам районного комитета письма Ленина из подполья. Некоторые рабочие стали задавать вопросы, требовавшие ответов. Был не один способ вырваться из тупика с Центральным комитетом, поэтому Ленин не стал уделять много внимания этому вопросу. Никто не знал, какие партийные рабочие стояли за восстание больше, чем спокойная, скромная, ранимая Надежда Константиновна. И не случайно, что в этот период она предпочла работать и проводить время в Выборге среди фабричного люда, так же как во время революции 1905 года она беседовала с рабочими и солдатами и сообщала об этих разговорах Ленину в его укрытие. У нее было непогрешимое чутье.

Отсутствующий лидер проиграл в двух схватках с Центральным комитетом. Он был против того, чтобы большевики принимали участие в Демократическом собрании и в Предпарламенте. Под жалящими ударами хлыста его писем и по мере того, как его письма распространялись все в более широких кругах, Центральный комитет решил вывести делегатов-большевиков из Предпарламента. 9 октября Троцкий, Володарский и другие вместе покинули Предпарламент. Этот шаг был правильно истолкован как приглашение к восстанию.

На следующий день Ленин написал письмо «петроградским товарищам», принимавшим участие в съезде Северных советов, за подписью «Наблюдатель», где вновь повторил угрозу выйти за пределы официальных каналов партии и обратиться к рядовым членам, как он мог это сделать после своей «отставки».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.